

Чингиз Айтматов

ТАВРО КАССАНДРЫ

(Из ересей XX века)
Фантастический роман



Когда Кассандра отвергла любовь Аполлона,
он наказал ее тем, что никто не верил
ее вещим предсказаниям...

Из древнегреческой мифологии
А блаженнее их обоих тот, кто еще
не существовал, кто не видал злых дел,
какие делаются под солнцем.

Екклесиаст

OCR и вычитка: Александр Белоусенко, 1 ноября 2003.

Глава первая

И на сей раз — в начале было Слово. Как когда-то. Как в том бессмертном Сюжете.

И все, что произошло затем, явилось следствием Сказанного.

Многие, однако, кому суждено было первыми столкнуться со столь неожиданным происшествием, никак не предполагали, что со временем им предстоит наперебой описывать в мемуарах именно эту историю как самое потрясающее событие в их жизни. Причем все они, очевидцы, были обречены начинать свои воспоминания расхожей фразой: «Невероятные события того дня развивались, как в детективном романе».

Впрочем, так оно и было. Сотрудники газеты «Трибюн» вдруг получили распоряжение главного редактора, согласно которому на время экстренного заседания редколлегии, спешно собравшейся на руководящем этаже, строго запрещалось звонить куда бы то ни было, отвечать на звонки и факсы и, более того, пропускать в помещение редакции посетителей.

С этого экстренного заседания все и началось.

Опубликовать на страницах газеты подобное заявление — такое разве что во сне могло привидеться! Но надо было решаться и надо было действовать. Вопрос стоял неумолимо: или — или. И «Трибюн», достаточно энергично и ревностно поддерживавшая свой имидж «властительницы дум на всех континентах», не удержалась-таки от искушения (разумеется, дьявольского, как утверждали потом оппоненты), слишком велика была ставка — сенсация мирового масштаба. Редакция получила эксклюзивное право на этот материал и решила крупно рискнуть, пошла ва-банк, пошла на молниеносную публикацию неслыханного в истории человечества документа.

Вот тогда-то, в начале событий, один из редакционных обозревателей бросил запомнившиеся многим слова: «Ну, все, ребята, — сказал он, держа в руках сырой оттиск полосы, — историю зашкалило за пределами мыслимого! И ведь благодаря нам, нашей «Трибюн»! Эту планку теперь никому не одолеть, выше не прыгнешь, а все остальное, как говорится, увидим — жизнь покажет. Чем все это кончится? Посмотрим! — Он покачал головой и добавил многозначительно: — Впрочем, коллеги, извините, должен предупредить, теперь пусть каждый подумает о себе — что будет через час, неизвестно».

Откровенно говоря, было чего опасаться. Каждый это понимал. Настроение в редакции в тот день менялось час от часу, то полное отчаяние всех — от главного редактора до стажеров с журналистского факультета, набивавших здесь руку для будущих репортажей, — все скрывались за дверьми, не выходили из-за столов и избегали говорить друг с другом, то, напротив, — безумный ажиотаж, когда все носились по коридорам и кабинетам, галдя и блестя глазами от возбуждения. Однако в пору было подумать и о другом — не кинуться ли баррикадировать двери и окна на случай натиска разъяренной толпы, которая, вне всяких сомнений, не должна была заставить себя долго ждать, ибо налицо были все причины, чтобы прихлынувшая уличная публика (ее не удержала бы никакая полиция) била вдребезги стекла, расшибала об пол телефоны, крушила мебель и оргтехнику и под объективами телевизионщиков, подоспевших на скандал, свирепо трясла за грудки газетчиков, посмевавших буквально в одночасье смутить весь мир, столкнуть человека воистину с самим Богом...

Но куда никуда не ведавшие гудящие толпы людские привычно катились по улицам великого американского города, привычно протекали живыми реками вдоль стеклянных небоскребов, а рядом так же беспрерывно двигались по улицам сияющие потоки машин, над головами пролетали ослепительно блестящие вертолеты. Еще никто не пришел в ужас, не вскричал на площади, потрясая крамольной газетой, кощунственно вторгшейся в таинства миропорядка, никогда не вызывавшего прежде никаких сомнений, еще никто не бросил подстрекательного клича, чтобы всколыхнуть всех вокруг и двинуться на исчадие ада...

«Трибюн» спешила, опасаясь конкуренции. Задержись выпуск номера, переверстываемого буквально на ходу, хоть на полчаса, и материал этот, прибывший из космоса, опубликовала бы другая газета в любой другой части света, чем бы это для нее ни обернулось. «Трибюн» не могла упустить своего шанса, даже если это вызвало бы всемирный потоп, который смыл бы в пучину все живое на земле, после чего никакая газета никому и нигде уже не потребовалась бы...

А океан, это хранилище всемирного потопа, грядущего и скорее всего неизбежного, в тот день могуче зыбился меж материками, неуловимо покачивая всей своей подвижной массой земной шар, играл гигантскими течениями, самовозбуждаясь и вскипая мгновенными грядами волн, мерцал и блистал на всем своем огромном пространстве.

Футуролог смотрел на кипящую магму океана с высоты, любовался ею в иллюминатор авиалайнера, летевшего над Атлантикой. И то, что он созерцал, восхищало его в этот солнечный день, хотя ничего необыкновенного не было, — обыденное и, более того, вынужденное зрелище для сотен авиапассажиров — внизу океан, вода, волны, однообразие, пустынный горизонт. Ему же думалось о том, как прекрасно, что крохотное око человеческое способно обозревать безграничное мировое пространство. И это не случайно. Никому, даже подоблачному орлу, не дано такое панорамное виденье. Да, благодаря техническим достижениям, ставшим второй, рукотворной реальностью, человек обнаруживал в себе все новые ресурсы вселенской приспособляемости и достигал божественного могущества. Ведь только Богу дано целиком обозревать землю, несясь над миром незримым вихрем на незримой высоте. Вот о чем думалось Футурологу на досуге, под устойчиво равномерный гул самолета. Как хорошо остаться наедине с собой... Слегка захмелевший от выпитого виски золотисто переливавшегося на дне большого бокала со льдом, он не сопротивлялся приятному возбуждению в крови, напротив, ему хотелось подольше сохранить столь редкое чувство вольной принадлежности самому себе. И то, что кресла рядом пустовали, соседей, которые могли бы отвлечь его разговорами, в ряду не было, тоже было редким везением.

Футуролог возвращался из очередной поездки в Европу. Опять международная конференция, собор интеллектуалов, опять нескончаемые дискуссии, ставшие образом жизни этой космополитической среды, дискуссии, перетекающие одна в другую в круговороте мнений и предреканий. Речь снова шла о перспективах мировой цивилизации, об опасности монополярности развития и тому подобном — всегда актуальных проблемах, на осмысление которых уходила, можно сказать, вся жизнь гарвардского ученого мужа, и чем глубже, казалось бы, постигал он с годами эту науку оракула, тем сильней становилось ощущение сизифовой неизученности упорно изучаемого — перспектив живущего изо дня в день рода человеческого. И думалось порой, что за доука — вечно стремиться упреждать судьбу, вечно маяться в поисках смысла жизни, того, что никогда никому не откроется ни сегодня, ни завтра, ни через тысячу лет?! Но попробуй откажи себе в этом неизбежном забеге мысли в будущее, возможно ли не изводиться, не отчаиваться, не пытаться разглядеть то, что еще только маячит на горизонте?! Судьба без образа будущего — бесплодна. Но насколько трудно временами, призывая себя к научной невозмутимости, к позиции «над схваткой», решаться объективно прогнозировать, предсказывать, куда, в какие пропасти норовит закатиться так называемое колесо истории, да и колесо ли это, возможно, нечто иное, что-нибудь вовсе не способное катиться, что-нибудь вроде сплюсненного от страшного удара велообода с разлетевшимися спицами, — ведь этой форме движения так и не находилось емкого определения в науке. Приблизительность, эскизность, декларативность — вечные признаки «колокольной» футурологии, эмпиричной и драматичной одновременно, и тем не менее берущейся все истолковывать и предугадывать. От иных прогнозов, сделанных с той высоченной, но шаткой «колокольни», попросту хотелось бежать, как от черной дождевой тучи, самому становилось страшно от своих же прогнозов, от ощущения роковых круговертей истории, и прежде всего от наступления неукротимых сил, открыто помогающих везде и повсюду власти и только власти, порождая новое зло взамен старого, ибо всякая власть, что бы она ни заявляла о своих целях, кровообращением своим имеет повеление. Для души, вопреки всему алчущей истины и недостижимого идеала, футурология в этом смысле была заведомым терзанием и мукой. И, однако, отказаться от извечных попыток предугадать будущее, что пытался делать еще бессловесный первобытный человек, отказаться от этого совершенно бескорыстного занятия, возможно, из мессианских побуждений предрекать суматошным отродьям людским пути предполагаемого развития, Футурологу было трудно, все равно что отречься от самого себя. Сколько

лет отдано этому! Удержаться же на высоте в современном прагматичном обществе «предсказателям» не так-то просто. Прошли те славно-античные времена, когда дельфийские пифии прорицали и гибель, и триумфы от имени богов. Увы, в XX веке отношение к оракулам куда как надменнее и язвительней.

Однако и это не так страшно. Футуролог и его коллеги жили в своем кругу, своими профессиональными интересами. К примеру, его нынешняя поездка в Европу была связана не только с симпозиумом, но и с презентацией его новой книги, изданной во Франкфурте-на-Майне. Кто-то на приеме полуслутом сказал по этому поводу, обыгрывая немецкое слово «майн», что, мол, великий город на Майне опубликовал великую книгу «Майне Хераусфордерунг» («Мой вызов самому себе»), которую вряд ли кто может опровергнуть, кроме разве что самого автора. А в той книге он поотряхнулся от левачества, как от липучего репья. Это действительно был вызов самому себе, вернее, былым увлечениям молодости. Преодоление экстремистского поветрия века приходилось начинать с самого себя.

После презентации он провел пресс-конференцию, раздавал автографы, затем состоялась непродолжительная поездка по Рейну, там же, на прогулочном пароходе, он дал интервью «Шпигелю». Фотографировали стареющего апостола футурологии на фоне медленно проплывающих прибрежных рейнских скал. И опять любезная шутка — старые скалы, мол, очень подходят к его облику, и сам он значителен, как старая скала. На что он ответил с усмешкой: «Можете так и озаглавить интервью — «Размышления Старой скалы». И пришлось Старой скале порассуждать вслух. А вопросы были всякие. Что значит — бросить вызов самому себе в науке и, стало быть, в жизни? Не есть ли это ревизия собственного опыта и убеждений? Что думает апостол: пессимизм — всегда фатальный итог жизни? Что он думает об авантюризме в футурологии? И, наконец, насколько хорошо он себя чувствует? Как ему это рейнское вино?! Ну, это здорово! Американцы всегда такие. Особенно немецкого происхождения!

И вот теперь, как спортсмен, спешащий в раздевалку после напряженного матча, чтобы поскорей отключиться от всего, сбросить накопившееся напряжение, Роберт Борк пытался в самолете отвлечься, не думать о том, о чем размышлял постоянно. И однако же думалось. О новой, быть может, итоговой монографии. Предстояло завершить незавершаемое — свою «Песнь песней». Если удастся, конечно. Если удастся на основе многолетних исследований вывести мысль к порогу новых научных предвидений. По мнению Роберта Борка, современному человечеству предстояло столкнуться с совершенно новыми проблемами, его ожидали неведомые прежде, общие для всех испытания, как, если бы вдруг охладилось солнце или, напротив, стало горячее, это коснулось бы всех и всюду. Осмысливая эти новые проблемы, человечество должно будет обнаружить в себе способность не только осознать трагическую возможность своей гибели, но, что чрезвычайно важно, это осознание должно послужить толчком к обнаружению новых способов выживания и отыскания дальнейших путей и форм развития, что, в свою очередь, должно привести к новому образу жизни, к новому типу мышления. Написать об этом, предсказать путь грядущего развития — это и была бы его, Роберта Борка, «Песнь песней»... Но удастся ли? Работа огромная... А время неумолимо...

Океан под крылом все так же бескрайне зыбился, мерцая бликами, играющими на волнах. Солнце, безоблачная высь, простор, стремительный полет — движение, как бы застывшее навечно над океаном... Часа через полтора должна была показаться береговая черта материка, и тогда начнется посадка, и тогда кончится эта небесная пауза, и снова, с первых шагов в гомонящем аэропорту, он окунется в людской омут.

А пока полет продолжался, и Футуролога ждало в пути нечто неожиданное и необычайное.

Он был неважнецким фотографом-любителем, но тем не менее всегда носил с собой фотоаппарат и щелкал всякий раз без разбору все что вздумается. Особенно злоупотреблял он разного рода небесными пейзажами. Жена его Джесси приходила в отчаяние от количества никудышных фотографий, заполонивших их дом. В минуты раздражения она называла его фотомусорщиком и

грозила устроить хороший костер, но это не охлаждало его пламенного увлечения. Иронизируя над собой, он говорил: «Я стратосферщик и в науке — в абстракциях витаю, и в фотографии — облака ловлю в объектив!» Вот и в этот раз, подумав, что стоило бы что-нибудь такое снять, пополнить свою коллекцию каким-нибудь причудливым облачком, вольно гуляющим по небосклону, словно дитя в хорошую погоду, он прильнул к окну, изготавливая фотоаппарат. Ничего достойного, к сожалению, не обнаружилось, небо вокруг было чистое, лишь несколько бродячих тучек слонялись далеко внизу.

И тут, на развороте самолета по курсу, он вдруг увидел с накренившегося борта большое стадо плывущих в океане китов. Он увидел их настолько отчетливо, настолько единообразно в пространстве и движении, это было столь ошеломительно, что дух захватило. А ведь они, киты, ему часто снились. Да, снились смутными видениями, плывущими в океане. И вроде бы звали его с собой. И вот теперь киты наяву. Невероятное зрелище! Кит плыли клином, как журавли в небе. Голов двадцать. Самолет выровнялся, но киты внизу были еще видны. Могуче вспарывая волны, извергая бушующие над головами фонтаны брызг, то погружаясь в пучину, то вновь всплывая гороподобными телами, они шли в единой устремленности, не отклоняясь и не нарушая сложившегося хода.

Забыв обо всем, увлеченный силой и волей движения китового стада, Роберт Борк вдруг представил себе, что и сам он плывет в этом гигантском заплыве, среди китов, что он киточеловек, что вода стекает сверкающими потоками с его спины, как грозовой ливень с холма. И он плыл в бушующем океане, понимая проснувшимся вдруг чутьем издонным, что отныне будет связан с китами до конца дней своих; и открылась в душе его тайная суть этой встречи: то, что постигнет китов, постигнет и его, то, что произойдет с ним, произойдет и с китами...

Стало быть, снились они ему не случайно? Нет, совсем не случайно. Но куда они плыли в этот час так поспешно? Куда они звали его с собой, с каким умыслом? Совсем не уверенный, что что-нибудь получится на таком расстоянии, он все-таки щелкнул фотоаппаратом.

В следующее мгновение он выхватил из выемки кресла трубку авиателефона — позвонить домой. Быстро набирая на телефонном табло банковский счет, код города, номер домашнего телефона, он сбился на какой-то цифре, снова начал набор. Ему необходимо было рассказать жене о том, что он видит. Он был в таком состоянии, когда человек не может молчать, не может с кем-то не поделиться. «Ну что же Джесси так долго не снимает трубку?! Где она? Может быть, выехала? Едет встречать, так рано? Надо позвонить в машину!» Именно ей, жене, спешил он рассказать об увиденных китах, точно не мог сделать это по приезде. Недаром близкие друзья посмеивались над Футурологом — он даже во сне ей верен.

А киты в океане уже скрывались, уже исчезали из виду...

— Джесси! — вскричал он, когда та откликнулась в трубке. — Помнишь, я говорил тебе, что мне снились киты?!

— Да, а что? Что с тобой? Где ты?

— Я только что видел их! Я встретил китов в океане! Ты понимаешь, это было, это было что-то грандиозное, такого я никогда в жизни не видел... Это...

— Постой, постой, что ты так возбужден? Ради Бога успокойся... Расскажешь потом, дома. Киты! ...Тут у нас такое творится, что и не знаю, что тебе сказать! Все в шоке. Все читают «Трибюн»! Есть у вас в салоне газеты сегодняшние? Хотя, конечно, откуда... Пока вы летите, тут такое творится! Это экстренный выпуск «Трибюн», о нем только что объявили по радио и телевидению... Все кинулись читать...

— А что такое? Политическая сенсация?

- Да нет. Если бы! Я не знаю, как тебе объяснить. Я еще читаю. Это — совсем иное.
- Но все-таки о чем речь? Что это?
- Послание космического монаха папе римскому! А вообще-то обращение ко всем, ко всем людям...
- Что-что? Что это за космический монах? Не смейся, пожалуйста. Разве существует институт космических монахов?
- Я не могу объяснить. Это огромный материал. Все читают.
- О чем это послание? В чем его суть? Ну, в двух словах!
- Этот космический монах утверждает, что он совершил великое научное открытие. Получается, что люди теперь вроде бы сами смогут решать, рождаться им на свет или нет.
- Да ты что, Джесси?! — Футуролог опешил. — Ничего не понимаю. Бред какой-то. Как можно подобное утверждать?! А где же Бог?
- Не знаю. Возможно, и Бог согласен с этим.
- Ничего себе! Что ты говоришь?! Ты понимаешь, что ты говоришь?! Что там у вас творится?
- Приедешь — прочтешь. Все звонят друг другу... Все в растерянности, многие так возмущены, что готовы стереть «Трибюн» с лица земли. Друзья говорят, что именно ты должен высказаться. Разобраться, сказать, что все это значит и что будет дальше...
- А кто он, этот космический монах? Кто-нибудь из астронавтов, спятивших на орбите?
- Да это тот самый невозвращенец, помнишь, промелькнуло как-то в печати, что один член экипажа космической научной станции отказался возвращаться на Землю?
- Помню, конечно. Писали, что он русский, летал с американцем и японцем. Не помню только, как его зовут.
- В послании он именуется монахом Филофеем.
- Филофей? Это его настоящее имя?
- Не знаю.
- Это русское имя. От русских сейчас всего можно ожидать. Они такого навиделись на своем веку... Отшельник, стало быть, уединился в космическом скиту и кидает оттуда идеи?! Это ново!..

Глава вторая

Папе римскому!

Ваше Святейшество, прежде чем извиниться за беспокойство, причиняемое Вам из столь отдаленных мест во Вселенной — с околоземной орбиты, где я нахожусь в экспедиции на космической научно-исследовательской станции вот уже третий год, мысленно преклоняю перед Вами колени, святой отец, и истово целую Вашу руку. Простите грешную душу мою и, если сочтете возможным, выслушайте мои, могущие показаться на первый взгляд абсолютно абсурдными, более того, вредоносными — с точки зрения нравственно-исторического опыта — выводы из практических наблюдений и идеи, кровно выстраданные мною, быть может, по воле и внушению — осмелюсь

предположить — самого Провидения. Иначе я не стал бы тревожить Вас, святой отец, прекрасно понимая, сколь большой дерзостью выглядит мое обращение к Вам. Надеюсь, однако, что в контексте письма мотивы моего обращения станут понятны.

Итак, начну сразу с сути. Судьбе угодно было сподвигнуть мою скромную особу на познание прежде неведомого свойства зарождающегося духа — рефлексии человеческого эмбриона, открытие и осознание существования которой, весьма возможно, приблизит нас к тайнам Божественного Промысла. Мне выпала удача экспериментально выявить скрытую до сего эту рефлексию, и я рассматриваю это как новый шанс совершенствования эволюции рода человеческого.

И потому покорно прошу Вас, святой отец, выслушать меня.

Повторяю, мне удалось совершить величайшее открытие, последствия которого, несомненно, скажутся на дальнейшей жизни человечества. Я вынужден говорить о себе подобным образом потому, что никто другой пока не в состоянии оценить того, что достигнуто, поскольку никто не имеет представления о характере открытий, не имеющих аналогов.

Я утверждаю, что в первые недели внутриутробного развития человеческий зародыш способен интуитивно предугадывать то, что ожидает его в грядущей жизни, и проявить свое отношение к потенциальной судьбе. Если это отношение негативно, у эмбрионов возникает сопротивление грядущему появлению на свет Божий.

Мною выявлен знак-сигнал, которым эмбрион выражает это свое негативное отношение к рождению. Этот знак-сигнал проявляется в виде небольшого пигментного пятна на лбу у женщины, вынашивающей такой плод. Я назвал это пятно тавром Кассандры, а зародыш, подающий негативные сигналы, — кассандро-эмбрионом.

Поразительная способность проявлять свое отношение к грядущему и подавать сигналы бедствия свойственна человеческому эмбриону лишь в первые недели после зачатия. Затем эта способность угасает, что связано с тем, что плод постепенно примиряется с ожидающей его неизбежностью.

Неприятие кассандро-эмбрионом предстоящей жизни, безусловно, имело место на протяжении всего бытия человеческого. Но никто никогда не придавал, да и сейчас не придает значения пигментному пятнышку на лбу у некоторых беременных женщин. Я не только расшифровал значение подобного пятна, но и нашел способ более явственно выявлять его, делать его более заметным. Для этого я провожу сеансы облучения, посылаю на Землю из космоса зондаж-лучи. Направленные с орбитального модуля, они усиливают импульсы кассандро-эмбриона в чреве матери. И небольшое пигментное пятнышко, которое раньше люди принимали за прыщик, под воздействием зондаж-лучей начинает пульсировать и мерцать. Зондаж-лучи незримы в атмосфере и совершенно безвредны для организма. Они направляются мною из космоса практически на все континенты, на всю планету. Цель этого облучения — тотальное выявление кассандро-эмбрионов. Идет «космический опрос» эмбрионов. Суть того, что сообщает кассандро-эмбрион, можно передать примерно так: «Будь на то моя воля, я предпочел бы не родиться. В ответ на ваш запрос я посылаю сигналы, которые вы можете разгадать как предчувствие рока, беды, ожидающей меня, а значит, и моих близких, в будущем. И если вы эти сигналы разгадаете, то знайте, я, кассандро-эмбрион, предпочитаю исчезнуть, не родившись, не принося никому лишних тягот. Вы запрашиваете — я отвечаю: я не хочу жить. Но если, невзирая на мою волю, меня принудят родиться на свет, я приму судьбу такой, какой она мне выпала, как и все люди во все времена. Как быть, решайте сами, и прежде всего зачавшая меня мать. Но сначала постарайтесь меня услышать и понять. Я — кассандро-эмбрион! Пока еще не поздно распрощаться со мной, и я к этому готов. Я, кассандро-эмбрион, буду много дней давать о себе знать, я, кассандро-эмбрион, буду посылать вам свои сигналы. Я, кассандро-эмбрион, не хочу родиться, не хочу, не хочу, не хочу... Я — кассандро-эмбрион!»

Разумеется, такая интерпретация сигнала кассандро-эмбриона в каждом отдельном случае никого ни к чему не обязывает. Мерцающее на челе забеременевшей женщины тавро Кассандры вскоре

потускнеет и исчезнет бесследно. И все забудется, если пожелать забыть, если пожать плечами и потом ни о чем не думать...

Но наука не может пожать плечами. Статистические данные, полученные на космическом компьютере, свидетельствуют о том, что количество кассандро-эмбрионов с каждым годом возрастает.

Чем вызвано такое нарастание незримого бедствия — готовности эмбрионов уклониться от потока жизни, исчезнуть в небытии, не вступать в борьбу за существование — и что оно предвещает? Есть ли смысл извлекать уроки, собственно, из мистической стихии, лежащей за пределами нашего обыденного опыта? И если да, то правомерно ли экстраполировать страх едва зародившегося организма на реальную жизнь вовне? И не эта ли жизнь и является первопричиной апокалиптического самоощущения плода в материнском лоне? Мать — это слепок мира. Не становится ли она, мать, невольным проводником фатальных влияний окружающей действительности на плод?

Все эти вопросы требуют ответа.

Но прежде чем продолжить, я попытаюсь объяснить, почему я обращаюсь в данной ситуации именно к Вам, Ваше Святейшество, к главе римско-католической церкви.

Побудило меня обратиться к Вашей равноапостольной особе не только то, что Вы наместник Иисуса Христа, преемник св. Петра, что Вы обладаете в силу этого мировым авторитетом, это само собой, но и то, что Ваша личность интегрирует в себе нравственные убеждения и духовные ценности огромного числа людей, населяющих Землю. И, обращаясь к Вам, я обращаюсь ко всем современникам своим и, кто знает, возможно, и к потомкам нашим.

Разумеется, Вы вправе счесть мое обращение неуместным, дерзким и прочее и прочее, но в любом случае рассмотрение затронутой выше проблемы «эмбрионального пессимизма» невольно коснется чувствительной темы католического видения чудесного проявления Божественной воли — таинства рождения...

Я не католик, но это обстоятельство нисколько не умаляет моего искреннего уважения к католической вере. В моем представлении любая религия, не закосневшая в упоении собственной исключительностью, может служить резонатором для множества голосов, как небо служит простором для полета разных птиц... Окажись я в этом смысле птицей перелетной над католическим небосклоном, был бы счастлив...

Да, я всегда разделял в душе католические нравственно-этические догматы, находя в них общеприемлемые для всех нормы, наилучшим образом отвечающие логике жизни и в силу этого обладающие универсальной значимостью. В особенности когда речь идет о том, что постоянно терзает наши души сомнениями и муками, — о проблеме абортов. Не эта ли радикальная акция, ставшая столь же банальным делом, как открывание консервной банки, оборачивается для нас всякий раз мучительной наглядностью судьбы — так несложно, так запросто, значит, решается, быть или не быть человеку!. Родиться или не родиться, жить или не жить ему! Все зависит от разного рода привходящих причин, от превратностей, подчас сугубо житейских. И — говорят многие — при чем тут Бог? Бог тут ни при чем. Бог дал начало благословенной жизни. А дальше все решаем мы сами, люди, имеющие право сохранить или, напротив, уничтожить завязь. На этом многолюдном «толковище» неутихающих споров позиция католической церкви, отстаивающей безусловный запрет абортов, мне представляется наиболее верной, я бы сказал, соответствующей изначальному устройству жизни, какова она от сотворения, ибо в каждом крохотном зародыше, в каждом возобновляющемся варианте заключен неповторяющийся шифр движения вечности, каждое зародившееся существо закодировано в череде времен с последующим воспроизведением себе подобного, и все это изначально заложено Творцом в конструкции мироздания...

Да, потому и хочется напомнить вслед за католиками, что аборт означает прямое разрушение Божественного замысла. Много раз сказано о том, что аборт — насильственный акт, равносильный умышленному убийству, что аборт находится в прямом противоречии с первой заповедью «Не убий!», с библейским благословением «Плодитесь и размножайтесь!».

Все это, разумеется, так. Но есть ведь и другая позиция. Разве не раздаются повсеместно голоса, призывающие не вмешиваться в решение зачавшей женщины, а то и прямо агитирующие — якобы в интересах личности и общества — прибегать к абортам без лишних сомнений... И трудно возразить что-либо, когда будущая участь еще только зачатого существа заранее обусловлена поджидающими его в мире невзгодами — беспросветной нищетой и болезнями, насилием, пороками и унижениями... И потому категоричные транспаранты над головами участниц женских шествий, вроде «Мой живот — мой!», что означает попросту: «И катитесь все от меня подальше!», мало кого шокируют, как мало кого отвращают циничные, заявления спившихся женщин на сносях, что, мол, выпью еще, а завтра выкину из себя эту гадость, тунеядца, и буду гулять, буду шиковать, и никаких проблем... И что мне ваш Бог, и что мне ваш грех?! Да плевать мне на все, коли на меня все плюют!.. Будущего человека выкидывают в момент, как некий отброс... И тому находят многочисленные оправдания, не лишённые самой жесткой логичности.

Массовые выступления против деторождения повсюду множатся, заявляя о себе самым вызывающим образом, напирая декларациями в парламентах, шумя в феминистских движениях, на площадях и улицах, в толпах... Во многих странах свобода от продолжения рода не только затребована но и вырвана. Не тупик ли это жизни?

И в то же время наглядна жуткая участь беременных женщин, бросаемых повсюду на произвол судьбы. Кому нужны вынашиваемые ими дети? Так думают многие, очень многие и в пустынях Африки, и на улицах сверкающих городов. Все больше углубляется пропасть между необходимостью и возможностью. И в то же время... И в то же время не утихают в нас сомнения и терзания — так ли мы живем, все ли делаем, чтобы не пресекался род человеческий?

Но сколько же можно в самоистязаниях мысленных жалобно сетовать и беспомощно вопрошать — остановить ли нам продление потомства, поскольку счастья на Земле не находим, или перекинуться на другие планеты, если бы вышла на то соответствующая Санкция? Настолько все безысходно!

Обо всем этом много толковалось, и много истрачено полемического пыла, и все уже пресыщены мазохизмом; я же вынужден говорить об этом заново, точно я действительно свалился с Луны. Я вынужден обращаться через Вас к человечеству, потому что на всех обрушилась новая, неведомая прежде беда: мы узнали, что эмбрионы зывают к нам, и теперь нельзя не думать об этом!

Возможно, это не только беда, а и новое испытание духа, ниспосланное нам свыше в провиденье дальнейшего пути рода человеческого. Но куда выйдем мы на пути этом неизведанном? Что ждет нас впереди? Куда нам деться от гласа кассандро-эмбрионов, говорящих в нас о нас?

Открылась бездна, о которой мы не подозревали. Наступил срок мировой... Будем ли мы жить вне истины?

Именно поэтому я обращаюсь к Вам, святой отец, с этим посланием, чтобы вы могли, если сочтете нужным, со всей определенностью оценить открытое мною явление, для человечества столь же неожиданное, как если бы в небе появилось вдруг из глубин Вселенной второе солнце рядом с первым...

Я в большом смятении. Оптическое оборудование станции сближает меня с Землей, казалось бы, настолько, что расстояние почти не играет роли в восприятии земной действительности, и все же физически — я в космосе. И как бы мне хотелось в этот момент внезапного осознания человечеством подлинного положения вещей находиться непосредственно на Земле нашей грешной, среди людей. Но мой долг — находиться на посту. Я обязан быть на орбите, на научной станции, поскольку я,

космический монах Филофей, несу полную ответственность за свои действия, а именно — за неуклонно и систематически проводимые мной сеансы облучения зондаж-лучами, направленные на выявление флюидов кассандро-эмбрионов. Метод этого провоцирующего появления тавра Кассандры облучения, разработанный мной, целиком на моей совести.

И я очень обеспокоен возможной реакцией землян. Люди еще никогда не сталкивались с такого рода безапелляционным вызовом. И люди столкнутся с собой внутри себя...

Я боюсь за психическое состояние людей. Я боюсь, что, когда они узнают, что означает эта крохотная точка мерцающего эпителия на лбу у будущих матерей, это обернется для всех великим шоком.

В минуты слабости я мысленно взываю к Богу, плача и сетуя, что именно мне суждено было первым понять тайну эсхато-эмбрионов, распознать знак Кассандры, сей проклятый знак беды, затаившейся в генетическом подполье и лишь теперь обнаруженной. Даже Фауст, заглянувший в глаза изощренной дьявольщине, и тот не позавидовал бы мне. Я прошу Господа сжалиться надо мной, освободить меня, слабого человека, от непосильного груза. Никому и никогда такого не выпадало. Но почему же именно я?..

Никто и ничто не принуждает меня к тому, что я совершаю сейчас, обращаясь к Вам, Ваше Святейшество! Может быть, стоило бы мне умолчать, унести с собой в могилу эту открывшуюся мне тайну? Поступи я так, кто бы знал о ней, кто бы мог бросить мне укор и обвинения?..

Так зачем же я несу эту неслыханную ересь людям? Не затем же, чтобы породить бессмысленный переворот в умах, анархию и смуту духа, чтобы искалечить семьи, посеять тяжкие сомнения в каждом, кто призадумается и ужаснется, — есть ли смысл в продолжении бытия в потомках, а стало быть, и в самой юдоли земной? Как быть дальше? Чем компенсировать утрату незыблемости устройства жизни, унаследованного еще от Адама и Евы?

Много раз спрашивал я себя и много раз отвечал себе... Ни при каких обстоятельствах, ни из каких соображений не имею я права умалчивать о том, что открылось мне в скрытой эмбриональной стихии, — ведь, повторяю, число кассандро-эмбрионов непрерывно растет. Причина этого — в эскалации в подкорке мирового сознания ощущения порочности и гибельности вечно экстремального людского бытия. Тавро Кассандры — закадровый голос эмбрионального эсхата, напряженно и отчаянно ожидающего уже в утробе матери приближения конца света. Это убивает в нем естественную тягу к жизни.

И разве можно теперь, в наши дни, в условиях постиндустриального общества, скрывать от мира подобное положение вещей?! Нет, безусловно, такое сокрытие было бы преступлением против человечества, против самих себя.

Мы находимся в преддверии нового скачка нашего самосознания, ибо отныне мы, как бы ни хотели, не сможем закрывать глаза на тот факт, что эмбрион не безучастен к тому, в какой генетической ойкумене он возникает в качестве будущей личности, то есть каковы мы: мы — жизнеобразующее начало, мы — эпоха, мы — личности. Он тревожно глядит в перископ своей судьбы — зазеркальной подводной лодки, носимой в зазеркальном море будущей жизни. А не стоит ли нам самим взглянуться в этот перископ кассандро-эмбриона? Не мы ли сами причина сокрушающих нас штормов?

Страшусь думать: не есть ли кассандро-эмбрион проявление нашего самоотречения от своей предназначенности в мире? Как же могли мы, по идее богоподобные существа, докатиться до такого состояния? Сколь же надо было «преуспеть» людям, в какого свойства делах и мыслях, чтобы подвести эволюцию к подобным апокалиптическим сдвигам уже на стадии зародыша!

В этом факте дает о себе знать все то, что годами, веками накапливалось, суммировалось в генах, как в компьютерной памяти. Сегодня нам дано обнаружить экранное отражение этой рефлексии

эмбриона — тавро Кассандры. И велением судьбы именно я посылаю из космоса выявляющие это тавро зондаж-лучи. И потому слово сегодня за мной. И я, космический монах Филофей, хочу высказаться до конца. Это мой долг.

Позвольте, Ваше Святейшество, принося извинения за злоупотребление Вашим временем, продолжить свое, возможно, излишне многословное послание.

Как же нам быть дальше, зная, что являет собой тавро Кассандры? Чтобы понять это, надо наконец открыто признать: зло, совершенное субъектом, не уходит физически вместе с ним, с кончиной его века, а остается в генетическом лесу фатальным семенем, ожидая вероятного часа икс, когда оно даст о себе знать подобно мне замедленного действия.

Кстати, о мне замедленного действия, уже реальной, а не в переносном смысле. Происходило это в Афганистане, когда туда был брошен так называемый ограниченный контингент советских войск. Политическая подоплека недавних событий достаточно хорошо известна, а я веду речь конкретно о том, как устраивались воюющими пришельцами так называемые «трупные» ловушки. Тело врага подбрасывали в окрестностях его селения, где-нибудь поблизости от дороги, на приметном месте, подложив под убитого специальную мину на боевом взводе. Сами же «контингентщики» залегали в засаде с кинокамерой, чтобы заснять то, что произойдет. Стоило людям кинуться к убитому, чтобы унести труп для погребения, как раздавался взрыв и пришедших убивало на месте. А на пленке высокой чувствительности запечатлевались со всеми подробностями последние мгновения... Вот к убитому афганцу подбегает жена. Соседи пытаются удержать ее, но она в слезах, с криком кидается к трупу мужа, и мощный взрыв накрывает ее и пришедших с ней. И не стало людей. И все подробно заснято. А в другом кадре — перепуганные дети. Они бегут с плачем к распростертому на земле отцу, и снова взрыв раскидывает окровавленные тела по сторонам... Случайный путник, не посмеявшийся равнодушно проследовать мимо убитого при дороге. Слезает с седла, склоняется, переворачивает убитого за плечо, чтобы глянуть, кто бы это мог быть, и снова ослепительный взрыв. И снова смерть. И лошадь с раскроенным черепом убегает прочь нелепым скачком, потом валится с ног, дергается судорожно, храпит. И все это снято... Таким образом фиксировались наиболее выразительные из операций по устройству «трупных» ловушек. И то, что было таким способом запечатлено, засчитывалось как выполненное боевое задание и где-то в штабах оценивалось соответствующим образом. Какие-то люди, просматривавшие пленку, видели в этих эпизодах воплощение своих указаний и целей. Но кто они, с профессиональным удовлетворением следившие за событиями на экране? И те, кто преступно подстраивал такие ловушки смерти, тщательно фиксируя результаты своей работы на кинопленке, кто же они, откуда они? Их родословная неизвестна, их предков не сыскать. Остается только гадать по следам, уходящим в туманную размытость минувшего.

И напрашивается вопрос — откуда они, вечно живущие впрок и всегда в пику самому Господу, на которого мы, злоупотребляя Его неиссякаемой милостью, неизменно полагаемся как на высший гарант, вознося в душе молитвы в надеждах, — так вот откуда они, те, от кого тянется неистребимый генетический задел стартовых в нас злодеяний?

Откуда? От кого они сами? Риторический, разумеется, вопрос... Но от этого не легче. Откуда все это тянется? То ли от первобытного пращура, сжигавшего в пещере заживо замурованных, то ли от сладострастного маньяка, вымещавшего свою садистскую патологию на муках задушенной жертвы, то ли еще от кого-то, да мало ли от кого в той сатанинской бездне мрака и жестокостей, накопленных за тысячелетия; и как не вспомнить в этом вековечном списке о тех, кто был палачом у подножья восседавшего на троне такого же палача, или о тех, уже знакомых нам по опыту, одержимо-яростных глашатаях в стаях партийных, кто клекотал с балконов и трибун, возжигая революции и войны с тем большим остервенением, чем слаще предвкушал чудовищно, эротически желанную власть.

Кровь и власть — вот тот гумус, на котором семена зла всходят вовеки... Зло сменяется злом, оставляя семена свои для следующего зла...

Так стоит ли ходить по дебрям прошлого с факелом, высвечивая мертвенные лики, когда в памяти многих еще жива эпоха, способная сказать нам немало в этом смысле, — эпоха Сталингитлера, или же, наоборот, Гитлерсталина. Двуетная сущность их стоила человечеству столько крови, что мировая статистика все еще, спустя многие десятилетия, не может подытожить истинное число жертв, вовлеченных в их междуусобную войну, кровавую, мировую, когда сцепились в противоборстве не на жизнь, а на смерть две головы физиологически единого чудовища. Мог ли быть фашизм без большевизма? Мог ли быть Гитлер без Сталина и наоборот? Леденеет кровь живущих в XX веке при мысли о разнорожденных, но единоскрестившихся в карме преисподней Сталингитлере и Гитлерсталине.

И кто знает, не пытался ли в свое время кассандро-эмбрион, которому грозило явиться на свет то ли Гитлером, то ли Сталиным, не пытался ли он, несчастный зачаток будущего некрофила, оповестить внешний мир, и прежде всего вынашивавшую его во чреве мать, о своем предощущении будущего через тавро Кассандры, не испытывал ли он инстинктивного содрогания, желания уклониться от той зловещей роли, которая ему предстояла?!

Трудно сказать, что было бы, не появись они на свет... В таких случаях обычно говорят — историю не переделаешь. И, тем не менее, обречена ли она была развиваться непременно по кровавой кривой, вычерченной Гитлером и Сталиным для восхождения на кровавую вершину жестокости и античеловечности, не виданных ни в какие предыдущие времена? Эти двое побратимов во зле сумели столкнуть миллионы людей между собой и, в конечном счете, человечество с самим собой, как если бы население планеты той поры поставило себе целью самоликвидироваться, самоуничтожиться, исчезнуть навсегда, продемонстрировав напоследок бездны человеконенавистнических деяний. И если не вдаваться во все причины, приведшие историю к такому кромешному исходу, стоит подумать над тем, насколько соответствующими оказались для успешной реализации зловещего тиранического комплекса, безусловно, депонированного в наследственности субъектов, о коих идет речь, тогдашние люди, тогдашнее мировое сознание, вскормившее и взлелеявшее сталинизм и гитлеризм себе же на беду.

Те воды утекли. Никто не скажет, какие невосполнимые шансы прогресса и благоденствия были упущены историей, сколько людского горя, скольких несчастий можно было бы избежать, предотвратить в истоках, обладай люди научным методом провиденья и, в частности, знай они о кассандро-эмбрионах, подающих сигналы через тавро Кассандры. Увы, о том, что таится в собственной генетической структуре, человечество узнало слишком поздно...

Но вот сказано новое слово на пути познания трансцендентальных способностей эмбрионов. Ожидают ли нас вслед за этими открытиями чудеса? Нет. Никому не изменить изначально предпосланных человечеству энергии Добра и наряду с ней и вопреки ей — энергии Зла. Они равные величины. Но человеку даны преимущества разума, заключающего в себе неисчерпаемое движение вечности, и, если человек хочет выжить, если он хочет достичь вершин цивилизации, ему необходимо побеждать в себе Зло. Ведь вся жизнь людей протекает в беспрестанных к тому попытках, и в том главное наше предназначение.

Вот приоткрылась неизвестная прежде тайна, существующая в нас самих. Кто скажет, не совершен ли в данном случае колоссальный прорыв в ранее незатребованные пределы живого духа? Не обнаружены ли новые кванты внутреннего мира?

Так ли это или нет — трудно сказать, но я хотел бы еще раз обратить внимание общества на то, что открытие кассандро-эмбрионов привносит в нашу жизнь ряд новых проблем, с которыми мы никогда не сталкивались.

Кто скажет, как следует относиться к сигналу кассандро-эмбриона? Как вести себя родителям? Придавать ли тавру Кассандры фатальное значение? Или, напротив, выкинуть из головы? Махнуть рукой, благо через недели две странная точка, тихо мерцавшая особенно заметно по ночам, когда зачавшая мирно спит, исчезнет, угаснет сама по себе, и все, Бог даст, забудется.

Да, можно, наверное, и так. И все равно невольно вспомнится родителям об этом, когда новорожденный появится на свет в положенный срок, вспомнится. И в дальнейшем, не исключено, припомнится; возможны различные критические ситуации в детстве, в судьбе матери, в жизни семьи, и всякий раз сердце будет больно сжиматься от напоминаний непрошенных, и будут являться всякие мысли о том эфемерном пятнышке, порождая неизбежные вопросы. Странно, мол, подумается, почему этот знак коснулся только их дитя, ее дитя. Был ли подобный знак у других матерей, а если был, то так же ли скрывают они это от всех и от себя, стараются не вспоминать, забыть как нечто мистическое? А что, если каким-то образом и ребенок подозревает об этом, пусть это таится лишь в его подсознании, смутно, как зыбкий сон, и вообще отражается ли это как-то на его психике?

Но ведь это только первая волна вопросов и сомнений. На дальнем горизонте их куда больше, и они куда сложнее. Разве не подумают родители при этом о себе, о своей прямой или косвенной вине? Может быть, они, она, он во всем были виноваты? И это самое тяжкое, поскольку самообвинения всегда гипертрофированы. И тут неизбежно возникает мучительный вопрос, что именно могло повлиять, чем объяснить, что именно их плод подавал сигналы бедствия, — вот о чем будут думать родители. И нетрудно представить себе, как они обреченно будут включать в круг всевозможных факторов, воздействовавших каким-то образом на эмбриона, не только себя как биологических зачинателей, но и все, с чем связан их быт, их жизнь в обществе: их социальное положение, претензии, амбиции, убеждения — все, что обуславливает, формирует и сотрясает жизнь человека, со всеми вытекающими отсюда житейскими понятиями — что справедливо, что несправедливо, что хорошо, что плохо и т. д.

Подобная взаимосвязанность самых различных проявлений бытия следует из того, что зарождение плода есть центральное событие в Пространстве и Времени, это завязь истории в архетипах природы.

Кассандро-эмбрион обладает необыкновенно обостренной интуицией, особым предощущением эпохи. Поэтому осмысление его импульсов — это прежде всего повод для нашего собственного осмысления мира, который мы хаотически сооружаем вовне и внутри себя. В этом смысле тавро Кассандры, возможно, открыто нам по замыслу Всевышнего как толчок к новому проникновению в суть действительности, к анализу прежде не доступного нам. И каждый волен делать выводы сообразно своим понятиям и устремлениям души.

Пользуясь этим правом в данном случае, говорю и я, космический монах Филофей, находясь на орбитальной станции и ведя отсюда свои наблюдения. Обращаюсь к землянам. Задумаемся ради искомого смысла жизни, дарованной нам Творцом, о том, что порождает эсхатологический комплекс у кассандро-эмбриона в его начальном приближении к миру, в котором мы живем.

Всякие предположения могут быть на этот счет. Есть они и у меня. Совершенное оборудование космической станции позволяет мне принимать телевизионные передачи, которые ведутся в разное время на разных континентах. Оптические приборы дают возможность видеть все на поверхности Земли с разных точек и в разных ракурсах. У меня перед взором панорама повседневной жизни землян, более широкая, чем если бы я находился на Земле. Я не праздный наблюдатель, моя программа космически-земная, я — экспериментатор, взявший на себя, не побоюсь этого сказать, величайшую ответственность перед нынешним и будущим человечеством. И это не громкая фраза, так оно и есть. А потому я не могу позволить себе ни единого слова, не отвечающего, насколько мне дано судить, исчерпывающей истине. Я верю, что мои исследования направлены на предупреждение от рукотворного, творимого нами самими в душах наших конца света. Я пытаюсь сказать во всеуслышание то, что не позволяют нам сказать самим себе вечно доминирующие над нами эгоизм и ханжество.

Я провожу эксперименты по системному выявлению тавра Кассандры, не оповещая об этом ничего не подозревающих женщин. Это все равно как если бы все попадали под один дождь. И хотя эти незримые зондаж-лучи совершенно безвредны для здоровья, всякий раз при мысли о том, что я причиняю людям душевную боль, мне становится не по себе.

Но я не могу избавить их от переживаний в тех случаях, когда в ответ на космический «запрос» будет иметь место явственная мета сигнальной реакции кассандро-эмбриона. Тут уж судьба, и от этого никуда не деться. Важно понимать, что судьба эта, будучи конкретно-индивидуальной, в то же время обнимает всех, все общество в целом, поскольку причины этой беды — мировые.

Хотим мы того или нет, кассандро-эмбрионы и тавро Кассандры — реальность. И потому я буду неуклонно продолжать свои космические исследования, о чем объявляю открыто, сострадая тем, кого это коснется или уже коснулось на Земле. Люди должны знать правду о себе. В этом мой долг перед Богом. Но здесь начинаются и мои адские тревоги, святой отец, о которых я не могу умолчать, и потому выношу их на общий суд.

Повторяю, я осознаю, что несу ответственность и перед кассандро-эмбрионом, тайну которого я открыл и разглашаю (но ведь он сам добивается разглашения!), и перед матерью, его зачавшей, ибо, не зная она значения тавра Кассандры, жила бы себе спокойно.

И даже сейчас, когда я набираю на компьютере вот эти живо бегущие строки, мне тяжело, мысль о том, имею ли я право поступать таким образом, мучает меня.

Я оглядываюсь в стенах орбитального корабля, отлетаю в невесомости подальше от компьютера, растерянно блуждаю взором, как бы ища нечто такое, что отвлекло бы меня, сохранило бы мою внутреннюю уверенность в том, что я прав, сообщая о своем открытии миру, и взгляд мой падает на телеэкраны по обеим сторонам станционного корпуса. Все экраны светятся, живут, идут телепередачи из разных стран, на разных языках. Вот она, земная действительность, во всех своих ипостасях и неповторимой разности, от рекламы до спорта, от судебного репортажа до встречи в аэропорту официального лица и т. д. и т. п.

Среди всего этого глобального пейзажа мое внимание приковывает к себе экран, на котором какая-то шумная, наэлектризованная уличная демонстрация. И почему-то полицейские, их немало, идут вместе с протестующими демонстрантами. Все улицы запружены, съемка ведется с разных точек, в том числе и с высоты, звучат взволнованные голоса. Голос репортера, передающего с места событий, голос диктора студии тонут в уличном гуле и криках. Где это происходит? Кажется, в Италии. Так далеко и так близко — все рядом: блеск глаз, жестикуляция, нервное выражение лиц. Да, это в Сицилии. Наспех написанные транспаранты над головами. Ну, конечно! Опять мафия! Опять террористы! На этот раз убит главный судья, вслед за прокурором! Коварно, наглядно и беспощадно. Дистанционно управляемым взрывом на проезжей части улицы все разнесено в клочья и сожжено — всё и все, кто оказался в тот роковой момент рядом, когда проезжали тут на автомобиле судья и его охранники. Сработано все «безупречно» и на виду у всех.

Демонстранты в отчаянии... Они прут рекой. Но против кого они выступают? Что может эта масса людей? Не находятся ли сами мафиози среди демонстрантов, смеясь в душе над ними? Демонстрация схлынет через час-другой, а они останутся при своих интересах, называясь громко мафией, картелями, синдикатами и даже империями. Под их невидимым диктатом находятся уже целые страны, колонии мафии!..

Демонстранты идут... А над ними вдруг появляется стремительно летящий вертолет, густо разбрасывает листовки и тут же исчезает за крышами. Это происходит на моих глазах. Люди хватают листовки, падающие им на головы. На листовках изображена смерть — череп с костями... О смерти нагло уведомляет мафия. Всем смерть, всем, кто против мафии! Взрыв ревущего негодования сотрясает людей. На глазах у многих слезы. Я останавливаю взгляд на молодой женщине в полицейской форме, в берете, сбитом набок, с развязавшимся галстуком. Женщина-полицейский с видеокамерой, судя по всему, ведет оперативную съемку. Она успела заснять вертолет. Хотя что это даст? Мафиози не так глупы — вертолет будет перекрашен, искрошен, все, что угодно. Вот ее помощники с микрофонами. Они о чем-то быстро, возбужденно говорят. Я их понимаю. Сколько полицейских гибнет ежедневно в мире от рук мафии! И им это грозит. И ей тоже. Но что я вижу: на лбу ее обнаженном характерное пятнышко — тавро Кассандры! Да, как знал! Я приближаю и

укрупняю этот кадр и убеждаюсь, что не ошибся. Боже мой, хотя ей, сотруднице полиции, сейчас не до этого, но знает ли она, что глубинное ее неприятие мира, против которого она сейчас вместе с демонстрантами протестует, передалось ее будущему ребенку. Вот он, сигнал бедствия на лбу ее. Да, это практический результат одного из моих орбитальных сеансов по выявлению ответной реакции кассандро-эмбрионов на зондаж-лучи.

И я думаю о том, что если этому или какому-либо иному кассандро-эмбриону суждено будет появиться на свет, то со временем именно он (или она) может оказаться одним из самых ужасных преступников. Многим людям, всему обществу принесет он страдания и несчастья, пойдет на уголовные преступления по той, помимо всего прочего, причине, что в нем скажется подспудный комплекс врожденной мстительности — его вынудили родиться, его вынудили принять этот мир! Сам он впоследствии ничего не будет помнить о драматическом начале внутриутробной жизни своей, но комплекс мстительности даст опасные всходы. Хорошо, если повезет, если он, этот кассандроноворожденный, окажется впоследствии в такой среде, которая сможет интегрировать его негативный генетический задел, нейтрализовать его; в других же обстоятельствах для развития зла никаких усилий не потребуется, — так же, как камень сам катится под гору, все больше набирая скорость, так и при этом исходе судьбы — все катится само собой.

Вслушиваясь в сигналы кассандро-эмбрионов, я думаю об их будущем и сострадаю им. То, что исходит от них, — это бумеранг, это мы сами, перевоплощенные в нашем непрерывном грехопадении в импульсы нарастающего страха. И потому эти сигналы — голоса кассандроэмбрионов — должны быть услышаны на Земле, а смысл их взываний воспринят с пониманием.

Нет, это не сиюминутность, речь идет о вечности. Вечность вечна сама по себе, а человеку положено добиваться, продлевать кредит на вечность из рода в род единственным способом — нравственным самосовершенствованием. Прогресс — лишь техническое приложение к идее. Ядерное оружие в руках фанатичного диктатора, готовящегося уничтожить, если потребуется, весь мир, — яркая тому иллюстрация.

Будут ли земляне озабочены сигналами кассандро-эмбрионов, воспримут ли их как предвестие генетического заката и, стало быть, заката человеческой цивилизации?

Боюсь предсказывать. Боюсь, что сомнения и терзания замкнутся в пределах каждого частного случая и каждый знак Кассандры вызовет соответственно свою развязку, свой финал...

Опасаясь, что большинство женщин — и вряд ли мужья станут им препятствовать — постараются побыстрее избавиться от такого не совсем обычного плода. Первое, что придет им на ум, — аборт как самый радикальный выход. И моральное оправдание тому, можно сказать, бесспорно — к чему, мол, плодить заведомо несчастных людей? Их и без того хватает на свете. И кто посмеет осудить их, прибегнувших к аборту?! Кто? Общество? История? Мораль? В истории общества — истоки зла, оседающего генетическим страхом, а мораль так часто уклончива перед циничным натиском действительности.

И вот тут, Ваше Святейшество, я считаю своим долгом уточнить свою позицию. Будучи убежденным сторонником католического запрета на аборт, я тем не менее не мог бы высказать категорического осуждения в адрес тех, кто, обнаружив тавро Кассандры, предпочтет прибегнуть к аборту, при том, кстати, что такой исход отвечал бы и стремлению самих кассандроэмбрионов.

В результате мы сталкиваемся с чрезвычайно сложным противоречием. Радикальные действия (аборты) не решают, а скорей, напротив, усугубляют ключевые проблемы мирового сознания — остаются незатронутыми причины, порождающие эсхатологический комплекс у зародыша.

Вот череда невзгод, о которых не может не думать будущая мать:

- голод,
- трущобы,
- болезни и среди них СПИД,
- войны,
- экономические кризисы,
- социальные штормы,
- преступность,
- проституция,
- наркомания и наркомафия,
- межэтнические побоища,
- расизм,
- катастрофы экологические, энергетические,
- ядерные испытания,
- черные дыры,

и т. д. и т. д.

Все это рукотворно, все это порождено самими людьми. Масштабы бедствий людских приумножаются из поколения в поколение. И все мы в том соучаствуем. И вот, наконец, Провидение останавливает нас на краю бездны, дает о себе знать через тавро Кассандры...

Я еще раз заявляю, что мои космические исследования по выявлению сигналов кассандроэмбрионов не преследуют никаких целей, кроме как помочь понять людям — дальше так жить нельзя, дальше грядет вырождение!

Только искоренение бед и пороков каждым человеком, начиная с себя, и всеми вместе, всем родом людским, может обновить перспективу жизни. Утопия? Опять утопия?! Нет, это не очередная утопия. Это стезя выживания духа живого, иного пути нет...

Верю, что найдутся мужественные люди, которые не отступят, не кинутся немедленно избавляться от кассандро-эмбрионов; этим людям фатальные сигналы скажут о многом: об ответственности всех и каждого за образ жизни, за судьбу потомков, о том, что предстоит невиданное борец человека с самим собой... Такие люди будут добиваться лучшей жизни.

В это я верю.

А теперь очень коротко о себе.

Разумеется, никто меня не постригал в монахи, я самозванный, иначе говоря, условный космический монах, и имя условное я себе выбрал сам, нарек себя Филофеем, были монахи с таким именем на Руси. Я сам избрал для себя отшельническую жизнь в космическом скиту. Когда наш международный экипаж — американец, японец и я (до недавнего времени советский ученый и научный руководитель космической лаборатории), завершив свою программу, должен был возвращаться на Землю, я отказался покинуть орбитальную станцию, перейти в прибывший за нами многоходовый космический «челнок». Я сделал заявление на этот счет и настаивал на свободе личного выбора. Держа опасную бритву у горла, я вынудил моих коллег оставить меня в покое. И добился своего...

Вот уже пятый месяц, сто тридцать седьмой день, нахожусь я в полном одиночестве на орбите, проводя свои исследования. Запасы жизнеобеспечения на станции позволяют мне находиться здесь еще очень долго. И если верно, что нет худа без добра, то это относится и к моему случаю. Распад советской империи, от чего больно содрогнулся весь мир, оказался мне на руку. В хаосе событий бывшие советские наземные службы забыли обо мне и об орбитальной станции, именованной прежде «Восход-27». Боюсь, что не скоро вспомнят, боюсь, им не до меня, боюсь, что они, возможно, будут еще долго заняты нелепым дележом космического имущества между новыми государствами, возможно, попытаются разделить и орбитальную станцию, на которой я обосновался, а возможно,

будут делить и сам космос... Но это их дело. Я сделал свой выбор и выполняю свой долг. Я буду опрашивать человечество — выявлять сигналы кассандро-эмбрионов — до последнего часа своего...

На Земле меня никто не ждет. Никого у меня нет на свете. Сам я подкидыш, воспитывался в детдоме. Подбросить младенца на крыльцо детдома мою мать, судя по всему, вынудили крайние обстоятельства. О том, как складывалась моя жизнь, что побудило меня отправиться в космос, сейчас рассказывать не буду — это особая тема, особый рассказ.

Ваше Святейшество, еще раз преклоняю голову пред Вашим светлым Ликом. Не обессудьте. Единственное, чего я хочу, обращаясь через Вас к людям, — чтобы они знали истину.

Филофей, космический монах.

В миру — Андрей Крыльцов.

К тексту послания папе римскому, переданного с орбитального компьютера, была приложена записка, адресованная редакции газеты «Трибюн»:

«Уважаемый редактор!

В соответствии с нашей договоренностью предоставляю редакции «Трибюн» эксклюзивное право на публикацию послания.

Я прекрасно понимаю, какую тяжкую ношу берет на себя «Трибюн», решившись на такой шаг. Ценю Ваше мужество.

Был бы признателен, если бы редакция передавала мне наиболее интересные отклики на мое обращение. Мне необходимо иметь представление о реакции землян.

С благодарностью

Филофей, космический монах,

орбитальная станция РХ».

Глава третья

Ему опять снились киты. Он долго плыл среди них в океане. Он смотрел им в глаза, заливаемые волнами, и понимал выражение китовых глаз. Он и сам был китом. И плыли они клином, как тогда, когда он увидел их с самолета. Необъяснимая сила влекла их вперед, к черте горизонта, словно там что-то ждало их. Горизонт удалялся, а они все плыли, рассекая волны могучими телами. Вода в океане становилась все горячей. Накаты волн обжигали. И, чем дальше, тем трудней и страшней было плыть в горячих волнах. И он увидел и понял вдруг, почему так нестерпимо закипал океан. Над океаном появилось сразу два солнца. Два огненных багрово-коричневых шара жарко пылали в небе, как спаренные прожектора. И какое солнце было истинным, вечным, а какое — откуда-то приплудшим, но, может быть, соперничающим с настоящим, трудно было понять. Он сильно перепугался. И стал кричать рядом плывущим китам: «Смотрите, смотрите, киты, братья мои! Два солнца в небе! Сразу два солнца! Вы слышите?! Это плохо! Океан вскипит, и мы погибнем! Два солнца — страшно!»

Роберт Борк еще долго кричал в бушующем океане среди мечущихся китов и проснулся в горячем поту, с оглушительно бьющимся сердцем, отдающимся эхом в ушах. И не сразу поверил, пока приходил в себя, что это был сон. Два солнца, ослепительно пылавшие над океаном, запечатлелись так, точно он видел их наяву. Киты ему снились не раз, но чтобы такое, чтобы два солнца изжигали сверху! Жутко, жутко!..

И тут он понял, откуда явилось во сне второе солнце. Осенило тревожно и ясно. И удивился даже, что не сразу сообразил. «Надо же!» — усмехнулся Футуролог и глянул на часы у зеркала. Был уже седьмой час утра. Жена еще спала в соседней комнате.

Борк вышел на открытую веранду, где обычно делал утреннюю зарядку. Но в этот раз мысли были отвлечены другим. И все, что окружало его в их загородном доме, утратило для него обычный интерес. Даже каменный сад на площадке возле бассейна, любовно устроенный по японскому образцу (хотелось верить — согласно расположению звезд), где по утрам Футуролог любил — по слухам, распространяемым Джесси комически-ужасным шепотком, — колдовать, а по его словам, вычерчивать на песке магические знаки, сегодня был начисто забыт. Не до забав было сегодня. Предстояло просмотреть всю прессу, а ее было навалом, предстояло звонить разным лицам по разным вопросам — ухватывать ситуацию на лету.

Страсти по поводу кассандро-эмбрионов уже поднимались повсюду. В том, что этого следовало ожидать, Роберт Борк несколько не сомневался. Сам он испытывал прилив будоражащей энергии, как в былые, молодые годы, когда то и дело возгорались в университетских кругах шумные дискуссии по проблемам современной цивилизации, когда и впрямь казалось, что будущее человечества можно сконструировать в моделях почитаемого в ту пору интеллектуального «Римского клуба», стоит только переубедить консервативных оппонентов. События вокруг тавра Кассандры пробуждали в Борке забытый азарт, готовность идти на риск, на открытые столкновения ради идеи.

А события захватили Борка еще в аэропорту. Джесси встречала его в толпе у выхода с увесистой газетой в руке и помахивала ею над головой, как букетом, странно улыбаясь, с каким-то и виноватым, и озорным, и тревожным выражением лица. Но выглядела она даже помолодевшей, будто омытая внезапно прихvatившим ливнем. Джесси была на девять лет моложе Борка, но побаливала временами, с давлением, случалось, тягостно маялась и тускнела от этого, а в тот час в аэропорту она показалась мужу наэлектризованной, динамичной, как в молодые, далекие уже годы. О, как мешал он ей в те дни пробиться в великие музыканты! А ведь она была виолончелисткой не из последних. И не будь его, чокнутого Борка, намертво прилипшего к ней, возможно, карьера Джесси не ограничилась бы оркестровой ямой. Но у всех своя судьба.

Среди первых слов, сказанных ею в аэропорту, в толчее у турникетов, была бесшабашная, отчаянная фраза, выражавшая одновременно и радость от встречи:

— Не знаю, Роберт, какие магические знаки ты начертал перед отъездом среди своих дурацких камней, но как иначе объяснить случившееся? Никак, Роберт, никак, хоть лопни! Этому нет объяснения. Но это неслыханно! Поверь мне, от этого кинет в дрожь весь мир!

— Значит, мои иероглифы чего-то да стоят?! — ответил ей в тон Футуролог.

— Ну, в общем, доигрался, мой дорогой Футуролог, доигрался в магию... Теперь вот разбирайся.

Уже в машине — Джесси была за рулем — Борк развернул газету, но, проглядев полосы, тут же отложил:

— Нет, это надо дома, в спокойной обстановке внимательно прочесть, — и сложил очки.

— А ты думал! — понимающе усмехнулась Джесси. — Если бы не из космоса, а на углу кто-нибудь вещал такое, ему бы просто морду набили! Представляешь: эмбрион, зачаточек, чуть ли не мыслит! Что-то предполагает! И сообщает, что не хочет рождаться на свет! И об этом всерьез! Как можно?!

— Ну, не совсем, наверное, так, — озадаченно шевельнул плечами Борк. Ему показалось, что жена судит с налета, что с ней редко когда бывало, и почему-то захотелось, чтобы она на этот раз оказалась не права. — Возможно, имеется в виду сам факт существования зачаточной рефлексии. Но как бы то ни было, есть повод для размышлений. Если бы, допустим, открылась непорочная форма восприятия нашего грешного мира как контрольная точка отсчета... Понимаешь, мне об этом сейчас вдруг подумалось. А такое действительно могло бы быть только на эмбриональном уровне. Да и то в

фантастических представлениях. Хотя как сказать. Впрочем, не будем сейчас об этом. Приедем, я прочту, тогда поговорим, если всерьез... А ты знаешь, я сейчас тебя рассмешу.

И Футуролог принялся рассказывать жене о немецкой дотошности и педантичности и в то же время о внутренней раскованности европейцев, что роднило их с американцами. Однажды рано утром он увидел на пустынной рейнской набережной в Дюссельдорфе человека, едущего вдоль реки на велосипеде и распевającego во весь голос как ни в чем не бывало знаменитую арию, причем велосипедист был при галстукe, белом воротничке, в лаковых туфлях и чуть ли не в цилиндре, точно он только что с оперной сцены. И никого не было в тот час на набережной, ни души, кто бы мог оценить его пение. Но велопевцу никто и не требовался. Он был сам для себя, и при нем был полноводней Рейн, по которому двигались с утра пораньше грузовые баржи и пароходы... И солнце летнее всходило. Борк в восхищении готов был бежать за чудакoм-вокалистом, до того это было экстравагантно, смешно и величественно. Полная раскованность, полное счастье. Хотелось кинуться в Рейн, плыть навстречу тому поющему велосипедисту, что катил себе по бесконечной набережной, помахать ему рукой, прокричать из воды что-нибудь веселое, хотелось бежать рядом с ним и забыть все заботы на свете.

Они посмеялись чудаку, мчась по автобану.

«Теперь домой, домой. Теперь работать, работать, черт подери!» — говорил себе Борк в предвкушении того, что скоро снова будет дома, в кабинете своем, за письменным столом. Думал об этом, испытывая ставшее уже привычным двойное чувство — облегчения, как всегда бывало по возвращении, при встрече с Джесси в аэропорту, и в то же время с определенным укором в душе самому себе за отсутствие на неделе, за упущенные дни. А сколько их было, таких упущенных дней, цену которым человек познает слишком поздно.

На сей раз, однако, к привычному настроению примешивалось нечто иное, вызванное тем, о чем он узнал еще на борту самолета. Казалось бы, это странное известие обречено было на обычную участь сногсшибательной сенсации — вспыхнуть и угаснуть. Но чем больше Борк думал об услышанном, тем больше удивлялся, улавливая в себе непонятное ощущение причастности к тому, что произошло, и причем в такой степени, что не мог уже устраниться, выкинуть из головы эту совершенно не касающуюся его историю. Как если бы он очутился случайно в судебном зале, где был оглашен неожиданный и неслыханный приговор, по которому не только подсудимый, но и все, кто в тот момент находился на слушанье дела, были признаны виновными только за то, что присутствовали на судебном процессе. И отменить этот вердикт нельзя было только потому, что он был уже оглашен...

Поистине странное состояние порождало соприкосновение с космической новостью, поистине странное, неожиданное и необъяснимое. Вот и Джесси за рулем, судя по всему, находилась под впечатлением космической новости. Это он видел по ее лицу, по ее глазам. Природа наградила Джесси сияющим взором, неуловимо меняющиеся переливы и оттенки которого так много говорили Роберту Борку. С первого дня их знакомства на каком-то благотворительном концерте, когда он увидел ее среди молодых музыкантов, а она его сидящим близ сцены среди зрителей, после чего они стали встречаться, с того первого дня он научился читать по ее глазам «зиму и лето жизни» и знал все, что у нее на душе, и она знала о нем все. И эта их способность понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда определяла их согласие и семейное счастье.

Он решил не отвлекать жену болтовней — сосредоточенную, умолкшую, что на нее было не похоже. Особых причин для озабоченности у нее не было. Как нередко бывает в таком возрасте, уклад их жизни был привычно прочен; единственное, чего они не могли рассчитать и предопределить, — того, что от Бога, ведь каждому отпущен свой срок, свой век. А пока они старались посылно реализовывать свои творческие возможности, насколько хватит «квоты» времени и здоровья. И Борк понимал: если Джесси сейчас не по себе, то только потому, что она ошарашена этим посланием космического монаха Филофея.

«Дома поговорим, — думал Роберт Борк. — Может, позвонить сейчас кому-нибудь из университетских друзей, потолковать, пока едем? — И хотел было уже поднять трубку, но передумал. — Не сейчас, надо сначала внимательно прочесть этого космического оракула, а уж потом...»

— Включить радио? — отгадывая мысли мужа, спросила Джесси.

— Не стоит. Зачем мне галдящее радио? Мне с тобой и так хорошо.

— Охотно верю, очень охотно, — с мрачноватой насмешливостью откликнулась Джесси, ловко обгоняя очередную машину.

— А если то, о чем нам сообщили оттуда, — поднял глаза Борк, — действительно существует, то, конечно, никто не останется в стороне.

— Неужели ты думаешь, что такое действительно возможно?

— Не знаю. Но если это так, может последовать обвальная реакция,

— Типун тебе на язык, Футуролог! — вполне серьезно обеспокоилась Джесси. — Это же страшно, когда массы!

— Если люди увидят себя в беспощадном свете, генетика из таинства биологии может превратиться в политику.

— Ну уж ты чересчур, Роберт, — попыталась Джесси как-то приглушить усиливавшуюся тревогу. — Но кто его знает, — стала она рассуждать, — вот звонили перед моим отъездом в аэропорт Шнаеры, Артур и Элизабет, они тоже очень обеспокоены. А Джон наш, Кошут, звонил из Атланты, спектакль там ставит, тот вдруг припомнил, что-де на дискуссии по фукуямовской теории конца истории ты предрекал новую трагедию, новое испытание на пути человечества. Вот, говорит, и накаркал твой футуролог, извлек из ресурсов мирового зла, как из мешка с барахлом, взамен мировой войны войну в самом себе, в человеке, проблему — стоит ли ему родиться. Помолчал бы, говорит, твой футуролог, может, и не было бы такого оборота. А то открыл ворота вслепую, вот оно и явилось. Я ему говорю — что оно? А он — оно и есть оно. Ему и названия нет.

— Ну да, узнаю, узнаю Кошута, — Борк иронически пожал плечами. — Хохмит, как всегда, сам в театре ставит трагедии, мир переворачивает вверх дном: Шекспир, Эсхил и прочее, а я, видишь ли, ворон, каркающий на заборе. Спасибо. Хорош мой лысый дружок...

— Ой, не говори, чудной он. Помнишь, как однажды вдруг говорит: завидую тебе, у тебя и жена прелесть, и шевелюра еще та. А у меня, мол, что? А ты ему: жену ты можешь еще отобрать, а вот шевелюру, пусть и седую, и косматую, никак! А у него аж слезы на глазах, вроде и смеется и плачет, артист!

Борк задумчиво кивал в ответ. Впервые он возвращался домой с непривычным, а точнее, с неслыханным грузом на душе, свалившимся извне, невидимым, ничем не обозначаемым и все равно постоянно присутствующим.

— Боб, а ты действительно видел китов в океане? — прервала его мысли Джесси.

— Ну как же! Я потому тебе и звонил, — оживляясь вновь, заговорил он. — Ты представляешь? Этого словами не передать. В океане, вообрази себе, движутся, как корабли, грандиозные животные, плывут, как журавли в небе, треугольником. Зрелище! А тебя рядом нет. Но, хорошо еще, дозвонился. — Борк помолчал и затем продолжил, увлекаясь: — И как бы тебе объяснить, понимаешь, я сейчас думаю, что это было вовсе не случайно. Вот послушай. Во Франкфурте в этот

раз, кроме знакомой публики, был один новый участник, из Австралии. Из Мельбурнского университета. Все-таки австралийцы отличаются чем-то особенным от всех нас, не знаю почему, может, потому, что они на окраине мира? Или просто этот человек такой? Я его про себя дельфинологом называл, потому что он увлекается дельфинами. Это его хобби. Он живой, с пытливым умом, говорит интересно. Так вот, зашел у нас разговор, случайно, конечно, о китах, начали с дельфинов. И этот разговор о китах, пусть тебе покажется смешным, очень сблизил нас. Мне было так интересно! Ведь наука до сих пор не может ответить на вопрос, что означает феномен группового самоубийства китов.

— Это когда они выбрасываются на берег? Ты это имеешь в виду?

— Да, именно это. Так вот, что заставляет китов, полных сил и, надеюсь, умственного здоровья, вдруг, ни с того ни с сего, как сговорившись, подплыть ночью к берегу и швырнуть себя на отмель, где воды по щиколотку, на издыхание? И там, не делая даже попытки рвануться назад в океан, киты погибают. Зачем они это делают, отчего, почему?

— Но постой, — перебила его Джесси, увлеченно засияв глазами. — Сколько раз об этом писали в газетах. И что, твой австралиец знает, отчего это происходит?

— В том-то и дело. Ведь мы с ним как рассуждали? Что это явление — самоубийство китов — противоречит биологическому закону самосохранения вида. То есть — природе вопреки. Такого нет в животном мире.

— Зато среди людей сколько угодно.

— Это совсем другое. Категорически другое. И не об этом речь. Тут совсем иная картина, Джесси.

Роберт Борк замолчал, окидывая взглядом выбегающую из леса на бугор мощную автостраду с броскими придорожными знаками и табло на обочинах и невольно безотчетно любуясь знакомым, столько раз виденным пейзажем. На какую-то долю минуты он почувствовал себя очень счастливым — на пути домой, с Джесси за рулем, готовый открыть ей великую, как полагал он, тайну китов, предвосхищая заранее, как поразится она услышанному, как потом, увлеченные открытием, они будут снова и снова возвращаться к этой теме, обсуждая ее с разных сторон. И это будет счастьем. Ведь счастье — в единении душ. И ему захотелось, приехав, посидеть вдвоем на веранде, послушать поставленную Джесси музыку (она неисправима — классика для нее превыше всего) и позволить себе любимого белого вина... Но мелькнула мысль о космическом монахе, и он подумал, что идиллии сегодня может и не быть.

— Что ты замолчал, Боб, я жду. Решил меня заинтриговать?

— Да нет. Просто собираюсь с мыслями. Вот ты спрашиваешь — знает ли он, этот австралиец Киффер, причины самоубийства китов. Как тебе сказать. Он предполагает то, чего другие не могут себе даже представить. Понимаешь, это не какое-то логическое умозаключение. Я бы сказал, это особое нравственно-философское виденье. Да, да. Не улыбайся и не удивляйся. Именно так. Австралиец выдвигает версию мирового плана. Понимаешь, среди всех млекопитающих киты наряду с дельфинами — самые умственно развитые существа. К сожалению, они не обладают даром речи, и это создает непреодолимый пока барьер между нами и ними.

— Боже мой, ты привык читать доклады, Роберт. Но я не совсем понимаю, о каком нравственно-философском виденье ты говоришь?

— Ни один ученый не мог объяснить природу этого странного явления. А Киффер вдруг приоткрыл передо мной картину вселенского характера. — Так в чем же суть его гипотезы?

— Он пришел к потрясающему выводу. В акте группового самоубийства китов он видит реакцию мирового разума на земные события.

— Ну это совсем фантастика, Роберт!

— Не скажи, не скажи, дорогая моя. Я захвачен этой гипотезой. Ведь человеку дана некая абсолютная привилегия на обладание разумом, на вселенскую миссию, а если мы не в состоянии совершенствоваться, не в состоянии активно осваивать универсум, что от нас требуется и для чего мы и существуем на свете, то, стало быть, мы — паразиты, не оправдывающие своего назначения, никчемные твари. Но извини, я несколько увлекся. Мне просто хотелось сказать о том, что, сколько нам, человеческому роду, дано, столько же на нас и возложено. И прежде всего возложено: гармонизировать, совершенствовать бытие, а сюда включается все, что исходит от нас — и в помыслах и на практике. Гармония бытия! Сколько, однако, на этот счет великих и ничтожных мыслей рождается, сколько злорадства и пошлости выявляется в нас почти на каждом шагу, а ведь гармония — это еще и самоограничение, борьба с духовной распущенностью. И тут возникает естественный вопрос — а что есть совесть, о которой во все времена каждый лукаво толкует по-своему, когда и как ему удобно, а что она значит сама по себе, перед природой, перед историей, перед будущим мира и перед Богом, наконец, который нас сотворил и которого мы творим?

— Роберт, — не утерпела жена. — Воистину, в тебе пропал пламенный проповедник, жить бы тебе в средние века. Но очень возможно, что инквизиторы с удовольствием сожгли бы тебя на костре за ересь твою. Как можно творить Бога?

— Ах, вот оно что! Вот и ты, Джесси, становишься дотошным догматиком. Как можно?! Как можно?! Спалить бы меня не удалось. Творить можно словом. Да, да. На то нам и дано свыше слово. Все, что происходит в нас и с нами, вершится через слово. И все, что рукотворно, в конечном счете — это реализация слова. Мост через реку — вначале это было словом. Я большее скажу, слово — потенциал вечности, заключенный в нас. Мы умираем, но слово остается. И потому оно — Бог. Вот и мечемся мы в слове, в словах — то на крыльях летим в бесконечность, то под уздцы неизбежности ведомы словом, как мулы... Но я ведь о другом. О другой как раз, совершенно диаметрально противоположной ипостаси бытия — об изначальном отсутствии слова. А это — вся природа. К примеру, те же киты. В этом смысле трагические создания. Лишенные дара речи, им дано обладать уникальной интуицией, особым, только им свойственным мышлением и духом, особым энергоинформационным биополем. Об этом можно судить хотя бы по их младшим братьям-дельфинам.

— Но все-таки, Роберт, что же тебе, допустим, открылось?

Роберт Борк замолчал, приостанавливая себя перед тем, как высказать то, что было для него столь важным. И поймал себя на мысли, что всякий раз по пути в аэропорт или из аэропорта почему-то возникает желание говорить о вещах необыденных, о которых меньше говорится в домашней обстановке.

— Понимаешь ли, — продолжил он, — Киффер утверждает, и мне это кажется небезосновательным, что киты — это живые радары в открытых океанах, это улавливатели подспудных сигналов космоса; быть может, именно они, киты, первыми узнают, когда назревает извержение вулканов, и безмолвно ревут от напора внутриземной энергии, но, должно быть, самое трагическое для них, несокрушимо выносливых в таких штормах и бурях, что не всякому кораблю по силам, самое страшное для них, когда обрушиваются на них сигналы людских стихий, людских злодеяний, вызывающих не постижимый для нас дисбаланс в состоянии мирового духа. Вот что, вероятно, наиболее мучительно для них, как альпийский фен, дующий с гор, — ты знаешь, о чем я говорю, об этом существует целая литература, — ветер, изнуряющий психику горных жителей. Ведь как бы ни был страшен вулкан, он извергнет лаву и затем утихнет, угаснет. А ветры зла людского не угасают. Вот в чем суть. Так уж устроено в нашей жизни: добродетели — всегда дефицит, зла — всегда в избытке, всегда через край. И вот представь себе, когда совершается на земле нечто такое, чего мы не в силах остановить и чему

даже находим оправдание в потемках душ и разломах сознания, убивая, истязая, подавляя, омерзительно обманывая самих себя, киты плывут к нам в отчаянии и страхе. Потому что разум мировой грозит рухнуть, самоликвидироваться, а значит, кануть в бездну, исчезнуть. И это страшит всякую тварь безмолвную концом света. Этого живые существа интуитивно боятся. Почему, думаешь, крысы бегут с тонущего корабля? Именно поэтому. Лишенные дара речи, киты не могут выразить, насколько они страдают за нас, и как это давит, душит, разрывает их изнутри, требуя выхода, требуя разрядки. Ты пойми, как это мучительно! Помнишь, кто-то нам рассказывал, как увидел на улице немую девушку. Мать ее убил отец-мерзавец, а она, несчастная, бегала, не могла объяснить людям, что произошло, и хотела кинуться под трамвай. Нечто подобное, только в иных, вселенских масштабах, происходит, видимо, с китами. Они, наверное, стойко переносят в океане тревогу за полыхающие лесные пожары, содрогаются от оползней в горах, когда ледники движутся, утюжат все по пути, но сдвигов в человеческом поведении, злодеяний, садистских и неискоренимых, — вот этого они не в силах превозмочь, — такого, понимаешь ли, нагнетания губительных страстей человека, носителя мирового разума. Думаем ли мы о том, что нам доверен мировой разум, субстрат, а вернее, ипостась вечности? Сомневаюсь. Где-то среди нас, в стихии нашей, происходит срыв, обвал, извращение нравственности, незримая радиация зла и страха распространяется из того обвала по миру, нарушается космическая справедливость, думаю, что существует такая справедливость, искажается гармония бытия, и тогда киты не выдерживают и тоже срываются, плывут к берегу и выкидываются разом, выбрасывают себя на погибель, совершают самоубийство. И вот, представь себе, лечу только что над Атлантикой и смотрю, вдруг на развороте под крылом — стадо китов в океане. Я обомлел, когда увидел, как шли они журавлиным клином среди волн, дух захватило, и в то же время я подумал почему-то: куда они, какая сила гонит их, куда и зачем?

— Ну теперь-то понятно, отчего ты вдруг кинулся звонить мне с борта самолета. А я не могла сообразить: какие киты, что происходит? Конечно, после того, что ты себе вообразил, как не позвонить?!

— Думаю, что не просто вообразил.

— Ну-ну, — снисходительно улыбнулась жена. — Футуролог мой дорогой! — Она смотрела на него с легкой иронией. — С тобой такое бывает. Но занятно, ничего не скажешь, очень даже занятно. А вдруг и на самом деле это своеобразная форма протеста? Как знать. Ой, Роберт, нам надо заправиться, смотри — бензин на исходе. Пока мы с тобой мчались и про китов гадали...

Они свернули к бензоколонке, и все вернулось в привычное русло повседневной жизни, враз отступили и космический монах, и киты, и всякого рода абстракции. Потом они двинулись по улицам предместий, до дома оставалось уже совсем немного.

Почувствовав вдруг нахлынувшую усталость, Борк сказал:

— Джесси, сегодня не будем отвечать на звонки. Поставь на автомат, запишется. Устал. Отдохнуть надо с дороги...

— На один звонок я уже дала санкцию. Извини, но тебе сегодня вечером будет звонить Оливер Ордок. Я ему сказала, что ты сегодня прилетаешь. А то ведь он собирался звонить тебе в Европу.

— Оливер Ордок?

— Ну да. Он же выставил свою кандидатуру в президенты. Ты это знаешь?

— Знать-то знаю. Сейчас они все по первому кругу стартуют. Ну, от него не открутишься. Это настойчивый человек. Будет звонить до упора.

— Ну, извини, Боб. Я не могла отказать.

— Позвонит так позвонит. Ради Бога. Оливер Ордок. Давненько мы с ним не созванивались. Помнишь, он ведь был вице-губернатором, занимался наукой, образованием штата, занятостью населения. Помогал в организации у нас международных научных конференций, вместе ездили, если помнишь, в Москву в первые годы горбачевской перестройки. Тогда там собирали политологов, футурологов со всего света. Ордок участвовал как политолог и как представитель администрации штата. Да, перестройка, перестройка! Все мы было восторжались и на Востоке и на Западе, что и говорить! Романтическое время. Он-то помоложе меня, хотя и ему уже, пожалуй, порядочно.

— Пятьдесят шесть, — подсказала Джесси. — В газетах так и пишут: пятидесятишестилетний Оливер Ордок.

— А, ну вот. Примерно так я и думал. Выходит, отважился наш Оливер Ордок, решил судьбу испытать. О, магия высшей власти! А вдруг да получится?.. Избирательная кампания, что море открытое, пойдет волнами, глядишь, и вынесет к берегу. Если сумеет вызвать общественный прилив. Чутье проявить. Ордок в этом смысле вполне в своей стихии. Человек он хваткий, не глубокий, но и не глупый.

— Да, помню я то время. Хорошо помню. Тогда в Москве, когда мы там были, а, да, это в восемьдесят шестом, когда ты выступал в Кремле, в том огромном зале старинном, на форуме, Горбачев сам вел встречу. Ордок тоже был с нами. Помнишь? И недурно выступил, кажется, удачно.

— Недурно. Совсем недурно. В нем энергия, энтузиазм оратора. Он всегда был человеком момента. Хотя, повторяю, капитальных знаний у него нет. Да они, наверное, и не нужны в таких случаях. Для массового сознания важна прежде всего актуальность программы кандидата. И харизматизм личности.

— Ой, Роберт, довольно, что это мы — то про китов, а теперь вот на Оливере Ордоке зацик-лились. Будто у нас других забот нет. Скоро уже дома будем. Заболтались: Ордок да Ордок...

— А в этом и суть современного популизма, Джесси. Все сходят с ума по одной личности, а она как бы за всех сходит с ума. И мы с тобой в Америке не исключение.

— Ясное дело. Только чего он кинулся вдруг звонить тебе срочно в Европу? С чего бы?

— А тут и гадать нечего. Думаю, этот космический монах у многих уже вызвал головную боль, враз, так сказать, с панталыку сбил. Думаю, что именно в этом причина. Хотя трудно сказать.

— А ты тут при чем? С таким же успехом и ты, Боб, мог бы позвонить Ордоку по поводу космического феномена. Привет, мол, старик, как насчет послания папе римскому из космоса? Помнишь, в Москве у русских в таких случаях говорят: известно ли вам, с чем едят этот вопрос? Так и ты мог бы — с чем будем кушать сенсацию, дорогой Ордок? Почему бы и нет?

— Конечно. И все-таки ты сама говоришь, что многие мне уже звонили. Почему люди решили, что именно я должен давать объяснения по поводу этого сумасброда космического? Надо мне побыстрее разобраться, что это все-таки такое. А если это просто фейерверк?

— Коли фейерверк, подурчимся, повеселимся.

— Ой, не скажи, Джесси. Такие фейерверки до добра не доводят.

— Ну вот, тебе только дай повод. Не зря жизнерадостные французы прозвали тебя глобальным пессимистом. Забудем пока все это, хотя бы на подъезде к дому. Слишком много на один раз — и монах Филофей на орбите, и киты твои в океане, а у меня завтра серьезная репетиция с оркестром... О Боже...

— Мне самому хочется сегодня спокойно побыть с тобой, Джесси... Вот мы и приехали.

Глава четвертая

Спокойно отдохнуть не получилось. Уже в восьмом часу вечера раздался телефонный звонок. Бодрый женский голос поинтересовался, принося извинения за столь позднее беспокойство, может ли мистер Борк поговорить с кандидатом в президенты мистером Ордоком. Затем в разговор вступил сам Ордок. При том, что ему всегда были свойственны словоохотливость и подчеркнутая открытость, в этот раз он к тому же был явно возбужден. Приятельски-непринужденный разговор растянулся минут на сорок с лишним. Роберту Борку пришлось выслушать по ходу дела много нужного и ненужного, пришлось высказаться и самому.

Началось все с шутливого захода:

— Хелоу, Роберт, с приездом, и должен сказать тебе: в этот раз я ожидал твоего возвращения как никто другой на Американском континенте, за исключением, разумеется, твоей замечательной половины, и уже готов был сам двинуться в Европу, надеясь обнаружить тебя на рейнских берегах где-нибудь среди прекрасных франкфуртянок!

— Спасибо, Оливер. Франкфуртянки действительно хороши. Но думаю, что разыскивал ты меня не только поэтому. Что-нибудь происходит? Давненько не виделась.

— О да. Происходит слишком многое, больше, чем хотелось бы. Сам понимаешь, черт меня дернул, — кстати, по поводу черта я еще расскажу тебе поразительную историю, случившуюся со мной на днях, — так вот, пока ты ездил по Европам, пустился я во все тяжкие в предвыборной кампании.

— Знаю, знаю. И надеюсь, это всерьез.

— Очень даже всерьез. В сопровождении финансирующих аккомпаниаторов, довольно солидных и, главное, кровно заинтересованных. Но не об этом речь, как-никак то — оркестр, а арии-то петь — твоему самоуверенному другу, то бишь мне! Что это значит, не тебе рассказывать. Только будет ли толк? Серьезный вопрос. Однако отступать я не собираюсь. В общем, не стану долго распространяться. Ты сам прекрасно представляешь. Нарбатываю рейтинг на встречах с широкой публикой (толпой называть не хочу, ни-ни, ни в коем случае, да, конечно, коллективный интеллект, я это подчеркиваю на всех встречах, я за развитие коллективного интеллекта на всех уровнях). Но все-таки скажу тебе по-свойски, кстати, у тебя в статьях я как-то вычитал о бифуркационных стихиях, так вот, популизм равносителен вхождению во взрывоопасную зону: не так наступишь, не так ответишь, не так среагируешь, одних удовлетворишь, других — нет, и все от тебя чего-то ждут, и надо быть готовым ко всему. Но главное — доходчи-во изложить публике свое виденье проблем. Вот чего они ждут, избиратели, — решения проб-лем. Да-да, решения проблем. Алло, алло, ты слышишь меня? Так вот, Роберт, извини, что рассказываю тебе, ученому, про все это, самому даже неудобно. Но такова теперь участь моя. Я должен быть понятен каждому прохожему на улице.

— Не волнуйся, Оливер. Я слушаю, слушаю тебя.

— Спасибо. Главное, я пытаюсь донести до избирателей свою, так сказать, стратегическую программу американского будущего, как она представляется мне на фоне нынешней кризисной обстановки в мире. Кризисной, подчеркиваю! А когда, собственно, жизнь была не кризисной, говорю я себе. Всегда, во все времена. И всегда кто-то должен был взять на себя риск повести за собой других. Кризис в этом смысле — необходимое условие, чтобы за тобой пошли, чтобы тебе поверили. Дай Бог здоровья конституции и существующим законам, но, будь на земле тишь да благодать, кто кого стал бы слушать? Кто за кем бы пошел, не будь кризиса? Я так понимаю. Ну и вот, ведущая, концептуальная идея моя исходит из вечной проблемы — как устроить жизнь на завтра для всех и для каждого. Ясно, конечно, каждый жаждет для себя изменений к лучшему и не столько думает, как это сделать, как ждет немедленных благ небесных. Пусть тебе не покажется смешным, но люди, понимая, не понимают, их надо убеждать и убеждать. Они этого жаждут.

Пока Ордок излагал свои суждения и переживания на этот счет, Борк чутко улавливал в потоке его речи не только знакомые мотивы предвыборной маеты претендующего на президентский пост, но и нечто пока скрытое в подтексте, некую цель, к которой тот осторожно приближался, как плот к берегу.

Судя по всему, Ордок стремился и произвести приятное впечатление на собеседника, и подчеркнуть тот риск, на который он-де отважился ради интересов граждан и принципов демократии, и выяснить под завесой словоизлияний что-то, волнующее его. С тем он и звонил, так надо было понимать.

Борк живо представил себе его на другом конце провода, в просторном кабинете с большими овальными окнами, который тот занимал в последнее время в помещении партии в качестве лидера ее местного отделения, за столом, среди телефонов и прочей выразительной оргтехники, на вращающемся черном кожаном кресле, сидящим, чуть откинувшись, как встрепенувшаяся птица, глядящим отсутствующим взором в окна пятнадцатого этажа на такие же стеклянные этажи высотных зданий, стоящих напротив. При всей общительности и открытости Оливера Ордока существовали о нем самые разные мнения — за и против, не обходилось и без досужих разговоров о его чрезмерной скупости и т. п. И что у него собачий нюх политика-популиста. А о ком подобных разговоров не бывает? Тем более когда человек, начавший с адвокатской папки, вдруг молниеносно привлекает к себе общественное внимание, набирает, на зависть другим, очки, делает карьеру, казалось бы, из воздуха, вопреки критическим представлениям о нем близко знающих его.

Ордок выдвинулся вначале на профсоюзном поприще, затем в экологическом движении, замелькал на телеэкранах и страницах прессы, проявляя при этом немалые способности, вполне отвечающие расхожим запросам времени, или, как сам он любил подчеркивать, запросам человека с улицы. Он безошибочно угадывал, поистине как собака, бегущая по следу зверя, общественное настроение низов и воздействовал на эту стихию, стойчески относясь к элитарной критике. На том и выигрывал. Безусловно, успех обнадеживал, придавал уверенности, преображал человека. Ордок даже внешне как-то вдруг неузнаваемо изменился. Куда-то исчезли даже странные серо-белые пятна, которыми были покрыты его птичье лицо и жилистая шея. А ведь еще недавно иной раз возникало впечатление, что лицо его с характерными темными кругами под глазами, чем-то напоминавшее лицо экзальтированного Геббельса, нечаянно обрызгано супом. Так вот, один его недруг, врач по профессии, в свое время утверждал, что пятна на лице Ордока — психический показатель его честолюбивых вожделений, жажды власти. Что, если бы судьба не улыбнулась Ордоку наконец-таки, такими «кричащими» пятнами покрылось бы все его тщедушное тело, с головы до пят, и таким он ушел бы в могилу. Но так ехидствовали злые языки. Понимающие же люди, напротив, сочувствовали Ордоку, так как эти пятна были проявлением редкой болезни на нервной почве, которая называлась «витиличи». Чудесное же исчезновение с лица Ордока суповой пятнистости объясняли резким внутренним преображением его благодаря удовлетворенности, достижению, наконец, долгожданных целей. Смешно, конечно, но получалось, что избавление от косметического дефекта действительно произошло в связи с успехами Ордока на политической арене. Впрочем, житейская мелочь эта уже и забылась. Теперь Оливер Ордок выглядел на экранах вполне нормально, без каких-либо даже намеков на былую пятнистость. Он был энергичен, со всегда напряженным выражением юрких черных глаз, постоянно словно ищущих что-то. По собственному признанию Ордока, ему всегда хотелось увидеть того, кто ему противостоит. И тогда он шел напрямую и брал того на абордаж. К тому же Ордок прекрасно говорил: хорошо поставленный голос, четкая дикция, эффектные жесты, то есть то, что и требовалось трибуну, алчущему внимания толпы.

Но больше всего занимала Борка в Ордоке одна совершенно немислимая и, должно быть, редчайшая его способность, которая поражала настолько, что в нее трудно было поверить. И действительно, расскажи кому-нибудь, — ни за что не поверит, скажет, что такого не может быть. Борк же знал об этом не понаслышке, а лично, поскольку они с Оливером Ордоком были выпускниками одного университета, хотя и учились в разные годы, — Борк чуть пораньше, а тот чуть попозже, Борк на историческом, а Ордок на юридическом факультете. С тех пор прошло немало времени, не один десяток лет, но романтическая принадлежность к университетскому братству, как водится, сближала

их. Редчайшая же способность Ордока заключалась в том, что он помнил буквально все телефонные разговоры, которые когда-либо вел в своей жизни! Именно телефонные разговоры и только телефонные разговоры! Он мог сказать с точностью до дня и часа, с кем и когда он общался по телефону десять-пятнадцать лет тому назад, даже по незначительному поводу; предположим, звонил в справочное бюро аэропорта, или ему позвонили вдруг с бензоколонки в одна тысяча девятьсот семьдесят первом году, 12 августа в среду, в три часа дня. Объяснение такой особенности памяти, такому несусветному накоплению мусора в голове никто не находил. Роберт Борк даже не скрывал того, что он то завидовал странной способности Ордока, то приходил от нее в ужас. Думал по этому поводу то совершенно серьезно, то со смехом и страхом, ведь зачем-то человеку дана такая нелепая способность, а зачем? Дана свыше как награда или, напротив, преподнесена как наказание из преисподней? Кто знает?

Об этом вдруг вспомнилось Роберту Борку и в этот раз, когда он вслушивался в телефонное многословие однокашника. И подумалось: «А возможно, если будем живы лет через десять, вспомнит он и этот наш разговор, а я уже, конечно, не буду об этом помнить ничего, но чем черт не шутит, а вдруг запомню и я... А зачем?..»

Между тем Ордок перешел к тому, что и было целью его звонка:

— Так вот, Роберт, к чему я веду разговор, ты уж прости, что приходится начинать издалека; произошло событие, в котором мне чрезвычайно важно разобраться, как говорится, с ходу. Разумеется, ты уже в курсе дела, об этом уже вся Америка гудит. Этот космический монах, как его там именуют, — Филовей, кажется? Филовей?

— Филофей, — поправил Борк. — Его зовут Филофей. Я прочел его послание час назад.

— Я так и предполагал, Роберт. Так вот, лично на меня эта проблема кассандро-эмбрионов, как кирпич, свалилась. Лучше бы землетрясение случилось. Лучше бы не знаю что... Я в полной прострации, извини меня. Никогда со мной такого не бывало. Я не понимал до сих пор, что такое бездна, а теперь стою на краю. Я привык искать оппонента и сражаться с ним на виду у всех, а тут неизвестно, как вести себя, с кем иметь дело, с кем, если потребуется, скрестить копыя? То есть я хочу сказать, это что-то абстрактное. И в то же время оно касается, по сути дела, всех и каждого, и все мы застигнуты врасплох, быть может, допускаю, только ты и такие, как ты, суперинтеллектуалы, не дрогнули в мыслях.

— Извини, Оливер, — перебил его Борк, — я в таком же положении, как и ты, как и все. И скажи откровенно, почему ты решил обратиться по этому поводу именно ко мне? Мы с тобой из одного университетского инкубатора, я готов тебя слушать сколько угодно, но все-таки?

— Я буду откровенным. Мысль эта возникла не у меня. Первым высказал идею обратиться к тебе за разъяснением и советом мой помощник — Энтони Юнгер. Это молодой парень, не только деловитый, но и начитанный, интересуется философией. Я его ценю. Так вот, когда сбежались с вытарашенными глазами и каждый с «Трибюн» в руках все мои советники и помощники, обалдевшие что называется, мне стало не по себе. Завтра у меня в округе большая встреча с публикой, с народом. Сам понимаешь: демократия и народ — суть единая. И я готов к чему угодно, готов к любым вопросам, но когда я представил, что меня спросят об этих кассандро-эмбрионах, знаешь ли, на душе стало как-то так, как будто тигр стоит за углом. Кто мог предположить, что грянет вдруг гром из космоса?! А впереди — целая серия уже запланированных встреч с избирателями. Вот и прикидываю, как быть? Наш избиратель американский, сам знаешь, крайне дотошный, а то и просто скандальный. Да об этом знают все, весь мир следит за нами и, бывает, давится со смеху от неумности нашей американской. Демократия — как самоцель! Вот именно! Но извини ради Бога, опять отвлекся. Так вот, о чем я? Да, завтра мои избиратели непременно захотят узнать не только, все ли коренные зубы у меня на месте, и получить подтверждение от моего дантиста, но и мое мнение по поводу послания этого самого космического монаха. А что мне сказать? Руками разводить — ни да, ни нет?! Для политика это совсем негоже!

— Ты уверен, что тебя обязательно будут спрашивать об этом?

— Не сомневаюсь! И гадать не стоит!

— В таком случае напрашивается одно — принять открытие Филофея к сведению как своего рода пароксизм нашего самосознания, как корректирующую поправку к самим себе, выявленную через космос. Как новый ракурс внутреннего виденья, обретаемый через космическое зондирование. Не так ли?

— Наверное, так, но не знаю, я пока не готов к подобным заявлениям. Хорошо говорить с тобой, но как объяснить людям, что предполагается подобная поправка, добавка, пароксизм, ракурс. Какая разница? О чем толкует этот монах с небес — о каких-то кассандро-эмбрионах, об их отказе рождаться, в общем, о таких неслыханных вещах, которые для нас за гранью опыта. Но если бы это касалось только научной области, то еще полбеды. А ведь Филофей обращается к папе римскому, а по сути ко всему человечеству. Да и что еще скажет сам папа? И станет ли вообще отвечать? Не завидую я ни папе, ни себе тем более. Папа в Ватикане, монах в космосе, а я перед толпой!

— Позволь, позволь, Оливер, во-первых, не ты один, — попытался было Борк уточнить положение вещей. — Тут все...

— Понимаю, понимаю, но извини, я доскажу. Я знаю, о чем ты хочешь сказать. О том, что это проблема сугубо личного характера, что, мол, каждый человек сам и только сам должен решать, приемлет ли он такой, с позволения сказать, пароксизм. Да, но это так кажется на первый взгляд, Роберт. Мы не должны забывать, наше время — время уличных апелляций и требований толпы, перекладывания личных забот на административную систему. СПИД и тот ставится в вину административной системе. Нынешний человек — такое существо, чуть что не так — винит прежде всего не себя, а систему. А тут такая новость прикатила от космического монаха, куда ее валить, на кого повесить? И как быть? В общем, тут есть над чем подумать. Но ведь многие изловчатся и в этот раз — я имею в виду собратьев своих, политиков, — изловчатся так, чтобы это дело поставить себе на службу предвыборную. Даже кровопролитную войну можно повернуть себе на пользу. Я вот о чем.

— Да, друг, сегодня ты в ударе. И я тебя понимаю, Оливер. Не думай, однако, что послание Филофея для меня не загадка. Я тоже в шоке. Хотя должен сказать, если оппоненты не сумеют опровергнуть, развенчать утверждения Филофея, если поистине все это так и действительно сделано феноменальное открытие, касающееся биопсихологического фактора зарождения духа, интуиции у эмбриона и, в частности, эсхатологического комплекса, я бы назвал его «филофеевым комплексом», то отныне это будет в жизни человека занимать такое же место, как воля и страх, как рождение и смерть.

— Даже так? Ну, ничего себе, ничего не скажешь! Радикальный подход! — В голосе Ордока послышалось неподдельное изумление и огорчение. — И что же в таком слу чае дальше?

— Что ты имеешь в виду?

— А что я могу иметь в виду? Высокие материи, о которых мы с тобой толкуем, — это само по себе, но мне ведь надо будет отвечать на вопросы избирателей вполне конкретно, высказать свое отношение к «филофееву комплексу». Не хотелось бы недоразумений на этот счет.

— Ну да, я тебя понимаю, — согласился Борк. — Следует подумать...

— А может быть, я просто перезвоню тебе через часок? Право, Роберт, не по себе становится, и не стал бы я тебя беспокоить, но тут одной моей амбициозности — я этого в себе вовсе не отрицаю, амбициозный я человек — и самоуверенности моей, с которой я держусь перед аудиторией, будет

явно недостаточно. Ведь это, как я начинаю соображать с твоей подачи, абсолютно новый постулат человеческой данности. А ведь мы, американцы, сам понимаешь, во всем должны быть пионерами и обо всем иметь свое, независимое и ориентирующее всех других мнение. И если сегодня нагрянут из галактики, не дай Бог, инопланетяне, то завтра мы должны опубликовать наши с ними совместные фотографии в обнимку. А иначе мы не американцы!

— Да, уж это точно, так и есть, — посмеялся Борк и добавил: — Конечно, тут требуется не телефонный разговор, а нечто большее, какой-то форум, во всяком случае, специальная конференция, и не одна, и не только у нас в Америке, но и в других странах, особенно остро откликнутся густо населенные регионы, в первую очередь Россия, Китай, Индия, Япония. Могу себе представить, какие там пойдут круги по воде от филофеева камня. Но вернемся к нашему разговору. Что делать, как быть завтра? Ведь ты, Оливер, собирался выступать со своей предвыборной программой? Так ведь? У тебя уже были встречи с избирателями, у тебя свои приоритеты, свои доводы, свои способы влияния, как оно и должно быть у каждого претендента. В прессе уже промелькнули данные о рейтинге кандидатов. Прикидки. Прогнозы. У тебя вроде совсем не плохо. Знаю и твоих конкурентов.

— В том-то и дело. Фигуры очень сильные, энергичные. О них никак нельзя забывать, тем более сейчас, когда включается в игру такой неожиданный фактор! Филофеев комплекс!

Борк попытался его успокоить:

— Но я думаю, что сейчас, пока не осмыслена ситуация, говорить об этом напрямую рановато. Ведь как кандидата в президенты тебя эта тема непосредственно не касается.

Оливер Ордок тяжело повздыхал.

— Ты не совсем прав, Роберт, — возразил он. — Разумеется, я не несу за всю эту историю никакой ответственности. Но меня волнует, как эта ситуация может отразиться на моих предвыборных делах. Теперь послушай меня, Роберт. Что касается моего обращения к тебе, как я уже говорил, я делаю это с подачи моего молодого советника Энтони Юнгера, а это свидетельствует, кстати, о том, что нынешняя молодежь тебя хорошо знает и духовно ориентируется на тебя. Я отнял у тебя много времени, так ведь и звоню я тебе не случайно, а потому, что ты известный футуролог и прочее, и кому, как не таким, как ты, интеллектуалам, консультировать нас, практиков от политики. Мои соперники на выборах бывалые политики, я среди них новичок. Сейчас, ты знаешь, первый тур, и, если не предусмотреть заранее верные политические ходы, я вылечу из игры. Кого предпочтут в этой ситуации избиратели? Какую, собственно, занять позицию? Откровенно говоря, я не хотел бы прослыть консерватором, совсем ни к чему, но и революционность — всегда опасная крайность. Скатиться с беговой дорожки в самом начале по причине какой-либо нелепицы, недоразумения, скажем, в связи с этой космической историей — совсем обидно. Казалось бы, я ко всему готов, просчитаны все варианты предвыборной борьбы, все возможные осложнения на пути к Олимпу. И тут на тебе — такая оказия: привет от космического монаха! Что сказать — что я с ним, или послать его ко всем космическим чертям? Честное слово, во сне не привиделось бы! Но деваться некуда. Я хотел бы знать твое мнение на этот счет не из праздного любопытства, как ты сам понимаешь, а по необходимости. Не потерять бы голоса ненароком. Вот в чем проблема.

— Хорошо, Оливер, я, кажется, все понял, — отвечал Роберт Борк, удивляясь энергии и напору Ордока. (Борьба за политическое выживание — чего-то ведь стоит?!)

Кровь прилила к голове, в ушах зашумело, когда Борк представил себе на мгновение, какие лихие страсти спровоцированы в мире, какая брешь оказалась пробита отныне в сознании людей неожиданным, как комета, явлением из космоса монаха Филофея. К добру ли все это обернется, к худу ли? И надо было отвечать на прямо поставленный вопрос.

— Если бы ты, Оливер, и не участвовал в предвыборной гонке, — проговорил Борк, машинально покачивая головой, точно его собеседник на том конце провода мог его видеть, — то все равно было бы, что в этой ситуации обсудить. Дело не только в том, что я нахожусь под впечатлением послания Филофея. Дело в том, что, как ни пытался я пробудить в себе голос сомнения, пока не нахожу оснований для опровержения его выводов. Наоборот, начинаешь верить.

— Верить?.. Но к чему это приведет, Роберт?

— К тому, чему пришло время. Вопрос стоит отныне так — принимаем ли мы к сведению открытие Филофея, или опровергаем с фактами в руках, или делаем вид, что ничего особенного не происходит и отмахиваемся от Филофея, как от надоевшей мухи. И то, и другое, и третье — пока все в нашей власти. Да, если уклониться от проблем, поднятых Филофеем, жизнь в общем-то будет протекать так же, как протекала веками, но одно дело, когда мы не знали о тавре Кассандры, когда мы понятия не имели о генетической трагедии кассандро-эмбрионов, и совсем другое, когда мы знаем об этом и можем в этом убедиться. Как быть? Пренебречь, прикинуться, что ничего нам не грозит от самих себя, или глянуть правде в глаза, предощутить апокалиптический исход, услышать голоса кассандро-эмбрионов? Как быть? Вчера еще человечество об этом ничего не подозревало, сегодня оно оповещено. То есть — диагноз поставлен. И вследствие этого человек как бы заново открывает себя в себе — кто он есть в прорастающем семени своем, в зарождающемся духе, куда влекут его пороки прежних поколений, переданные по наследству, в какую генетическую темь. Разглядим ли мы себя в том страшном зеркале? Или и закроем глаза и будем загонять себя все дальше и дальше в угол? Я так понял трактат Филофея.

— Мм-да, — натужно промычал в телефонной трубке Оливер Ордок и тяжело замолчал.

— Я понимаю тебя, понимаю, почему ты молчишь. Но мое мнение совсем не обязывает тебя ни к чему. Ты слышишь?

— Да. И все-таки мне важно было узнать твое мнение, Роберт. Деваться мне некуда — я могу или выиграть, или проиграть, в зависимости от того, сумею ли занять нужную позицию. Понимаешь? Проиграть никак не желательно. Ради чего, спрашивается? Я понимаю, допустим, я встал на сторону забастовщиков или, напротив, пошел в первых рядах демонстрантов против апартеида или, наоборот, не нашел нужным этого делать, и так далее. То есть тут ясно, за что горишь, черт возьми! За дело! А тут за что? За химерическую гипотезу какого-то сумасшедшего с космической станции рисковать карьерой, возможно, будущего президента страны? Какая нелепость! И надо же случиться такому именно сейчас, не раньше, не позже! Извини, что изливаю свои сомнения и огорчения.

— Я тебя слушаю, Оливер. Вот только мне кажется, что напрасно ты относишься к открытию Филофея как к химерической гипотезе. Дело твое, конечно. Боюсь, что это уже не гипотеза, а реальность. А в таком случае — это явление, которое касается буквально всех людей на Земле. Что там забастовка в той или иной отрасли, что там демонстрации на улицах городов и прочие политические события по сравнению с тем, что грядет в связи с открытием Филофея. Так что мы обязаны дать себе отчет, что тут к чему.

Они оба замолчали, одновременно задумавшись. И снова заговорил Оливер Ордок:

— Стало быть, ты, Роберт, предлагаешь поддерживать послание Филофея?

— Видишь ли, Оливер, ты привык к чисто политическому подходу. Это и понятно. Но я в данном случае исхожу не из субъективных побуждений. Невозможно не считаться с фактами и логикой Филофея. Открытие космического монаха говорит о том, что человечеству предстоят новые испытания. Поэтому пойми меня правильно. Ты — политик, твоя цель — уловить актуальность проблем. Тенденцию настроений. А я — ученый, футуролог. Ты интересовался моим мнением. Буду рад, если в чем-то оказался полезным.

— Большое спасибо тебе, Роберт. Буду следить за прессой. Ведь тебе, безусловно, предстоит выступить в печати и на телевидении по этому поводу.

— Слава Богу, Джесси догадалась пока не сообщать журналистам о моем приезде.

— А вот от меня, докучливого Ордока, выходит, Джесси тебя не уберегла. Но не сердись. Я уж на дружеских правах прорвался. Нагловатый, в общем-то, я тип и болтун хороший. Да, кстати, я же обещал тебе рассказать насчет черта.

— Насчет черта? А, да, вспомнил. Так что там насчет черта?

— Забавная история. Представляешь, недавно я проводил первую предвыборную встречу. В огромном зале народу битком. Тысяч пять! Волнуюсь. Изложил программу. Пошли вопросы. Посыпались. О чем только не допытывались, как говорится — от и до! Диапазон — от сексменьшинств до международных отношений. Занимаюсь ли я спортом, как семья, какое хобби и прочее. И вдруг возникает у микрофона один тип и задает мне такой вопрос: «Мистер Ордок, будьте любезны, скажите, пожалуйста, какое отношение имеете вы к черту?» Я опешил. Зал замер! «К черту? О каком черте идет речь?» — «О вас, мистер Ордок. Вы — черт!» — «То есть?» — «Вы, мистер Ордок, венгр по происхождению. На венгерском языке «ордог» означает «черт»! Вам не стоило бы этого забывать, мистер Ордок!» Зал так и грохнул от хохота. С меня горячий пот полил. А этот тип добавляет: «Простите, мистер Ордок. Ведь я не случайно. Я очень хочу, чтобы вы стали самым популярным чертом в Америке!» И опять смех в зале до потолка. Как тебе нравится, Роберт?

— Такое не придумашь! Я и Джесси расскажу.

— Расскажи, расскажи, пусть посмеется.

— О'кей! Звони в случае чего.

— Непременно, — живо откликнулся Ордок, показалось, что он собирается попрощаться, но тут в разговоре возник совершенно неожиданный поворот. — Слушай, Роберт, в моей наивной голове мелькнула сейчас бесшабашная мысль, — сказал Ордок, хмыкнув в трубку. — А что, если, представь себе, допустим, да-да, допустим такое: в связи с тем, что неожиданно возник на пути нашем этот космический монах и как быть с ним, никто не знает, так вот, не стать ли тебе в нашей команде главным консультантом по этой части? На период кампании, конечно. Ну, соответствующая тому оплата. Но не в этом суть, извини ради Бога, это и оговаривать не стоило.

— Спасибо, Оливер, спасибо за предложение, — заторопился Борк, чтобы не вдаваться в ненужную тему. — Но скажу сразу: столько своей работы — не успеваю. С тобой должны быть на бегу молодые, расторопные, толковые ребята, чтобы с утра и до вечера рядом. Ведь это кампания, погоня за голосами. А я уже стар для этого.

— Не стоит, Роберт, не стоит. Не так уж ты стар, как тебе кажется. Ты себя преждевременно старишь. Поверь мне. Я ведь от души. Подумай при случае. Авось! На космического Филофея нужен соответственно земной Филофей! А?

— Ну тут сообща, сообща думать будем, — смущенно проговорил Борк. — В принципе ничто не мешает нам созваниваться, если потребуется.

— О'кей! Ты прав. Спокойной ночи! Джесси привет от меня.

— Она у телевизора сейчас.

— Ну ясно, сейчас все у экранов телевизоров. Все слушают рассуждения комментаторов. Но что будет завтра? Каким ветром потянет? Пока, Роберт!

— Пока.

Глава пятая

Положив наконец-то телефонную трубку, Роберт Борк покачал головой — вот как оно раскручивается — филофеевское послание действительно задевает всех. Мало ли было на земле проблем, вовеки неизбывных. А теперь вот — загадка кассандро-эмбрионов, как снег на голову! И вспыхнет мировая истерика. И сколько душ будет сбито с толку! Настал час! Не уклониться, не избежать! Что-то грядет! Уже висит в воздухе! Пышет из алчущей пасти назревающих событий! Реакция на космическое послание Филофея последует незамедлительная и яростная, как если бы на многолюдном базаре кого-то обесчестили, оскорбили в религиозных чувствах и вмиг поднялся гвалт несусветный. Идеи Филофея скорее всего будут подвергнуты мощной обструкции, осмеяны, опорочены и прокляты, как это всегда бывало в исступленные эпохи, при многих великих и малых хождениях к новым богам, к новым спасительным истинам, к утопическим далям идеального устройства жизни. Так было всегда. Но неужели история снова, снова слепо повторится и на сей раз? И как всегда, захлебнется в себе, ничего не открыв и не постигнув ни сиюминутно, ни впрок? Ведь отрекающиеся от жизни кассандро-эмбрионы как следствие все возрастающей концентрации зла в поколениях, накопления зла из века в век, не исчезнут, с открытием Филофея знание о них предопределит мучительную участь человечества — ожидать конца света. И другого исхода на горизонте не видно.

Думая обо всем этом, Роберт Борк невольно задавался вопросом, откуда такая страсть в нем самом, почему так близко к сердцу принимает он поступок столь отдаленного в пространстве космического монаха Филофея, почему так волнуется за него, почему оказался горячим сторонником, единомышленником автора кассандро-эмбрионального учения? Чем все это объяснить? И больше всего поражало Борка, что вся предыдущая жизнь его, все, что сумел он постигнуть, весь его опыт и знания как бы обнаружили свое подлинное предназначение именно теперь, именно в связи с открытием Филофея. Сознание этого рождало в нем и недоумение, и в то же время чувство небывалого внутреннего удовлетворения, ощущение неожиданного выхода на искомый след — на искомую сверхзадачу, о которой мечталось, быть может, всю жизнь, и отсюда являлась готовность отстаивать открытие космического монаха как свое кровное дело. Он уже обдумывал свое выступление. Всплыло название — «О чем гласит фобия кассандроэмбрионов?».

И подумалось ему в тот час, что в жизни бывают верховные минуты бытия: годами накапливаемое, обогащаемое изо дня в день являет вдруг молнию прозрения. Этому, несомненно, способствуют привходящие обстоятельства — согласие в семье, признанность в своем научном кругу, то есть все то, что повседневно сказывается на состоянии, на дееспособности человека, что принято называть, если без ханжества и пусть весьма банально, — счастьем. Обывательским счастьем, отчего оно не становится менее ценным.

Был уже поздний вечер; несмотря на усталость, Роберт Борк устроился в кабинете и включил компьютер. Того, что посетило душу в тот час, нельзя было упустить. Все это должно было найти свое выражение на бумаге, в слове.

В раскрытую дверь кабинета был виден горящий в гостиной камин. Круглый год, в любой сезон Джесси умудрялась разводить в камине огонь. Она любила музыку огня.

Первые летучие фразы родились легко. На чисто светящемся экране строки ложились наглядно, одна за другой, как пласты, опрокидываемые в поле плугом. В полуосвещенных боковым светом окна кабинета отливала густой синевой плотная осенняя ночь. Знакомые силуэты деревьев в саду лишь угадывались. Луна шла краем неба, то и дело зарываясь в кучевые облака и вновь выныривая.

В тот час, отрадный для работы, предстал пред мысленным взором Роберта Борка целокупный мир, как бы обозреваемый с высоченной горы, затаившейся в мареве за экраном компьютера. В тот час Борк писал о неизбывной проблематичности пребывания человека среди себе подобных, целиком поглощавшей человеческие существа от рождения до смерти, и о попытке постижения главной сути

бытия — человек не сотворен изначально добродетельным, отнюдь нет, для этого требуется неустанно прилагать душевные усилия и всякий раз, с каждым новым рождением, заново приступать к этому — для достижения недостижимого идеала. И все в человеке должно быть направлено на это. Только тогда он — человек.

Размышляя над жизнью человеческой, Роберт Борк, однако, не предполагал, насколько та самая жизнь, которую он под впечатлением письма Филофея пытался аналитически осмыслить, чревата необъяснимым, непредвиденным, насколько она противоречива, коварна, крута. Не предполагал он, в частности, что с того часа, как он в разговоре с Оливером Ордоком, боровшимся за президентское кресло, высказал свое отношение к открытию монаха Филофея, судьба его была предрешена. С этого часа судьба его оказалась зависимой от судьбы Ордока. А, с другой стороны, также совершенно немислимым образом оказалась увязана с судьбой Филофея, находившегося в тот час на орбите, в космическом уединении, в свою очередь ничего не ведавшего о Борке, — ни сном, ни духом.

Но как бы то ни было, случилось то, чему следовало стать. И узел судеб был уже нерасторжим. Об этом в ту лунную ночь еще никто не знал. Ни один из повязанных — ни тот, ни другой, ни третий... Но узел судеб был уже жестко стянут...

И катилась Луна в чреве ночи, неуклонно проделывая свой извечный путь над Землей в отведенные на то неукоснительные часы и минуты. И много зачатий, состоявшихся той ночью, были тотчас вовлечены лунным притяжением во вселенскую субстанцию, в продолжение круговорота вечности — рождения и смерти. Вечность жизни возобновлялась в чревах, в новоявленных оплодотворениях. И в каждой зачатии той ночью уже были обозначены в перспективе персонажи будущего. И всем им, зародившимся, были открыты двери свободы, двери рождения. И всякий зародившийся той ночью мог явиться со временем на свет кем угодно — и палачом, и казнимым, и безупречным, безбрачным богослужителем, и прочим, и прочим в этом ряду. Но, вопреки закону вечности, уклоняясь от зова жизни, объявились в черед зачатий той ночью и генетические нигилисты — кассандро-эмбрионы. Объявились, чтобы дать о себе знать свечением знака Кассандры на челе забеременевших женщин, объявились, чтобы бросить вызов уготованной судьбе-мачехе, объявились, чтобы с помощью филофеевых зондаж-лучей передать изнутри внешнему миру свою безмолвную просьбу — просьбу разрешить им удалиться от жизни.

И плыли киты той ночью в океане мимо мигающего во тьме маяка на далеком обрывистом побережье. Перламутрово лоснящееся стадо китов на играющем лунном свете плыло во мраке упорно и безостановочно. Куда они плыли? Что их влекло? Что их гнало? И что хотел сказать им маяк на обрыве, отражавшийся в океанской воде и в китовых глазах?

И сидел той ночью у компьютера футуролог Роберт Борк в тревогах, сменявшихся надеждами, в надеждах, сменявшихся тревогами. И плыл он среди китов в океане, и киты знали, что он плывет вместе с ними. И так они плыли вместе, ибо судьба его и судьба китов все более переплетались... Плылось ему в океане так же, как и китам в бурлящих волнах, и так же отражался свет далекого маяка в его зрачках, как и в китовых...

* * *

А ровно в три часа ночи по московскому времени вместе с боем знаменитых кремлевских курантов, всякий раз громогласно напоминавших всем четырем сторонам света о державном величии, устремившись круто вниз, слетела с гнезда на Спасской башне тамошняя сова. И полетела вдоль Кремлевской стены, как тень, бесшумно взмахивая широкими крыльями, неуловимо вращая на лету огромной головой с магнетически светящимися округло-пристальными глазами. Так летала она каждую ночь в одно и то же время, когда из Спасских ворот в полном безлюдии вокруг выходил, чеканя ударную поступь, отсчитывая ровно двести десять торжественно-ритуальных шагов, очередной наряд часовых к мавзолею Ленина. Мавзолей возник здесь уже на ее, совином, веку, и она пережила уже многих и многих молодых солдат, истуканами отстоявших свой срок в дверях мавзолея, охраняемого ежесекундно, круглосуточно, круглогодично, всегда.

Облетев площадь по всему периметру, покружив несколько раз над мавзолеем, мерцавшим в лунном свете гранитными гранями, покружив заодно и над сакрально-государственными захоронениями, располагавшимися в тылу мавзолея, под ельником, под самой Кремлевской стеной, и убедившись, что ожидаемые ею двое здешних призраков, одинаковых с виду, одинаково приземистых, одинаково башкастых, появлявшихся обычно в глухую полночную пору, судя по всему, и на этот раз не намерены возникать (куда они запропастились, никак опять поссорились?!), сова подалась прочь, неуловимо взмыв перед лицом каменно застывших на посту часовых. Сова улетала разочарованная, что-то давно уже неразлучная пара одинаково приземистых, одинаково башкастых фантомов, шептунов-собеседников, не наведывалась побродить по Красной площади, потолковать о жизни, посудачить. А чем еще оставалось им заниматься, этим потусторонним субъектам?

И в самом деле, уж очень любили они поговорить, порассуждать о том о сем, о политике — непременно. И случалось, что призраки увлекались, горячились, до скандала доходило, спорили, ругались очень. Один в сердцах заявлял, что никогда больше не встретится с другим, что он его ненавидит, презирает, не желает быть рядом; другой отвечал, что деваться тому некуда, что история теперь им не подвластна, не то что прежде, а потому совершенно напрасно он так горячится, после смерти они, что опавшие листья, куда ветер понесет, и прочее в этом роде. Волею Провидения только сове дано было видеть и слышать этих неуживчивых, неугомонных призраков в их потусторонней, эфемерной зыбкости... Сова уже привыкла к ним за долгие годы, без них ей было скучно, вроде чего-то не хватало. Но она знала, никуда они не денутся, рано или поздно появятся. Вот вскоре должен состояться на площади большой парад и шествие, и ночью вслед за этим призраки непременно появятся, возбужденные, с фанатически блестящими, пьяными от увиденного глазами. Очень их будоражат гремящие барабаны, строевая музыка, солдатские шаги, отбиваемые по плацу, точно по сердцу. А лязг военной техники! И шествия, шествия как будоражат — многолюдные, громогласные, ликующие, с лозунгами и портретами тех, что стоят в тот час на мавзолее. И протекают толпы, как нерестовое движение, — все в одну сторону, голова к голове, — с криками «ура-аа».

Но призракам не дано появляться в дневную пору, на свету, а не то захотелось бы им переступить ход времени, вернуться из небытия в сиюминутную явь и самим включиться в действие, самим стоять на верхней трибуне мавзолея над экзальтированной людской рекой внизу... И все бы это вдруг остановилось, замерло, как в стоп-кадре, застыло бы в немой сцене навсегда, на века в неизъяснимо сладостном восторге истории... И застыли бы на лету самолеты, пронесившиеся над Кремлем, и стаи испуганных голубей застыли бы в воздухе, и горение глаз, и орущие рты, и даже мысли, преданные и наичистейшие, застыли бы в извилинах мозгов... И солнце остановилось бы стоять навсегда в одном месте...

А в будни, особенно в ненастье, в затяжные дожди, в метельную поземку, когда на площади негде укрыться от ветра, когда часовые у мавзолея стоят в валенках с калошами, в ушанках, в рукавицах и выдыхают морозный пар, тут же оседающий белой изморозью на воротниках, на дулах парадного оружия, башкасто-приземистые фантомы-призраки, возможно, от непогоды становились ворчливыми, неуживчивыми, все больше жались по углам, искоса кидая взгляды на луну, перечили один другому, и тогда частенько доносились до слуха совы раздраженные возгласы: «Перестань меня убеждать в том, что не подлежит объяснению! Не существует аргументов против смерти, их не может быть, смерть — естественна. И я не хочу быть бессмертным, будучи умершим, не хочу эрзац-жизни! До каких пор будет это продолжаться?! Нет мне исхода, нет мне покоя, нет покаяния! Прежде не думал, а теперь из головы не выходит — зачем я родился, зачем только меня мать родила?! Ведь я не хотел, не хотел рождаться! А теперь я заложник гробницы! И это всё дело твоих рук! Это твоя архисатанинская, архиковарная идея! И никогда я с этим не примирюсь, никогда, никогда, запомни!» На что напарник отвечал ему сиплым голосом, невозмутимо посасывая навсегда угасшую трубку свою: «Слушай, я много раз объяснял тебе. Это была воля партии. Я объяснял тебе: ты нужен был партии в наглядном виде, в наличии, понимаешь, для мировой революции, для классовых клятвоприношений, ты нужен был партии после смерти и вопреки смерти. Ты — фараон революции, и тебя берегут, стерегут, тебе в твоём саркофаге поклоняются!» — «А я категорически не хочу этого! Я категорически протестую! Никому, категорически никому не дано игнорировать смерть. Это —

абсурд!» И летала сова над ними, и диву давалась, как яростно спорили они о том, о чем нигде в мире не услышишь...

Но сегодня их не было, полуночных призраков-спорщиков... Площадь пустовала...

Сова взмыла над зубчатой стеной Кремлевской крепости и, держа перед немигающим взглядом глаз своих всю округу, полетела дальше над обширно-пустынными крышами в дворцовые парки. Здесь она тихо ухала среди густых ветвей осенних, неподвижно оглядывая с высоты холма излучину реки внизу, темные крыши спящих домов. Под мостом скулила приبلудная собака. Зябла, должно быть...

Сове казалось, что она слышит из великого отдаления, откуда-то с другого края света, как в ночном океане плывут киты, как движутся они гуртом, раздвигая гороподобными телами надвигающиеся волны. Вода гудела в бурлении вокруг китов. Вода сопротивлялась их движению, но они плыли, поспешая неведь куда. Тревогой веяло от их вулканически-горячего дыхания.

Сова на взгорье кремлевском чуяла — что-то должно произойти на земле. Всегда так бывало — киты впадали в отчаяние перед тем, как случиться в мире великой беде.

И тягостно ухала сова в Кремлевском парке, и уже близился рассвет...

* * *

То, что произошло на другой день, не явилось для Роберта Борка некоей неожиданностью, подобное развитие событий можно было предвидеть. И все же такого крутого оборота он не ожидал...

С утра, когда он отправился в университет читать лекции, он еще принадлежал себе. А потом...

Во второй половине дня Борк возвращался домой. Возвращался, с трудом сосредоточиваясь за рулем машины. Хотелось поскорей оказаться дома, отыскать у Джесси аппарат для измерения давления, как он там называется... Она иногда измеряла давление себе, а заодно и ему. Обычно у него все было в норме, жаловаться на здоровье пока было грешно, он соглашался измерить давление со смешком, снисходя к причудам любимой жены. А теперь ему самому хотелось убедиться — все ли в порядке? Что-то не по себе было. Странное, ранее неведомое ощущение зыбкости окружающего мира охватило его. Жизнь как бы сместилась в чем-то, потеряла устойчивость, как на ветру, даже в выражении глаз и в голосах людей, с которыми он общался многие годы, что-то изменилось, а может быть, это происходило и в нем самом?

Даже автобан, прекрасно распланированный для скоростной езды, освоенный до мельчайших деталей, и тот показался чуть ли не малознакомым. Ехалось почему-то с опаской. Все стало вдруг иным, не совсем таким, как было... Все оставалось на месте, и все вокруг вроде бы утратило прежнее значение... И трудно было объяснить себе, что все это значило...

Машина Джесси стояла перед домом. На душе полегчало. Стало быть, жена еще не уехала на репетицию.

— Ну что, как дела? — Джесси поднялась ему навстречу. Она, как всегда, светила улыбкой. — Что-нибудь еще случилось? Что-то ты непонятный какой-то. — Джесси глянула в лицо мужа, и ее взгляд, насмешливо-улыбчивый поначалу, невольно изменился. — Ты неважно себя чувствуешь?

— Да в общем ничего. Джесси, ты себе не представляешь, люди сошли с ума! — проговорил Борк, бросив портфель на диван и скидывая пиджак.

— Хочешь кофе?

— Да, не прочь. Были звонки?

— Были. О них потом. Расскажи, что там происходит, в городе.

— Что происходит? Да то, чего и следовало ожидать. Паника. У всех на устах Филофей. Вот что происходит. Я уж не говорю о газетах, радио и телевидении. Там ажиотаж, тщетная попытка разобраться что к чему.

— А они уже звонили, Си-эн-эн, «Голос Америки», радио «Свобода». Я сказала, что ты возвратишься только поздно вечером. Но продолжай.

— В университете — невозможно шагу ступить, все взбудоражены до предела. Пожар на лицах. Все толкуют только об одном. И оказывается, это страшно, когда все зациклены на том, что волнует буквально всех одновременно. Бешеные мысли идут вразнос. Теперь я понимаю, что умел делать Гитлер на площадях, какие вызывать стихии.

— Возможно, ты прав. Но что ты хочешь, Роберт, это же студенты. Они молоды, кипучи, страсти через край. А тут — Филофей!

— Пожалуй что да. В день убийства Кеннеди, помню, было нечто подобное. Сегодня какая-то дикая разноголосица, сумятица, сумбур. Одни, к примеру, утверждают, что Филофей недопустимо вторгся в тайну природы, и тут же опровергают себя — а разве могут быть тайны, вторгаться в которые недопустимо. Другие — чего тут переживать, пусть себе монах космический морализует на орбите, а нам, мол, плевать. Подумаешь, какой-то прыщик на лбу. А в ответ: плевать потому, что ты мужчина, а как быть женщине, узнавшей, что ее будущее дитя не хочет рождаться? И вообще, как быть дальше? Что делать со знаком Кассандры? Как заставить себя забыть, не замечать того, что существует? Третьи несут что-нибудь несусветное. И четвертые, пятые, десятые и так далее. И, наконец, все вопиют: зачем вторгаться в генетический код — это запрограммированная судьба, не подлежащая вмешательству. Тысячелетиями люди жили по коду судьбы, и теперь вдруг ревизовать то, что неподвластно воле нашей. И так далее и тому подобное. Всего не передать. Для кого-то это прыщик, пусячок, а для кого-то катастрофа. Да, всего не передать. Но самое жуткое — Кассандра уже в действии. Говорят, одна студентка с юридического факультета глянула на лекции в зеркальце и с криком кинулась прочь из аудитории. У нее выступило на лбу то самое пятно, сигнал кассандро-эмбриона. А в другом случае и того хуже. Дорожная авария, и женщина, сидевшая за рулем, призналась, что загляделась в смотровое зеркальце — ей показалось, что на лбу у нее появилась подозрительная примета. Хорошо еще, обошлось без большой беды.

— Бог ты мой! — Джесси опустила на стул. — Вот свалилось всем на голову! Как же быть дальше? Должен же быть выход какой-то?!

— Не знаю, Джесси, не знаю. Что ты хочешь от меня? И потом, тебе ведь пора собираться на репетицию. Вернешься, поговорим. У меня тоже тяжело на душе.

— Никакой репетиции! Какая тут репетиция, когда творится черт знает что!

— Ну вот, начинается. И ты тоже! Весь оркестр тебя будет ждать, а ты тут будешь дома терзаться страстями по Филофею.

— А я позвоню, скажу, что заболела. В конце концов, я самая старая среди них. И вообще я скоро буду бабушкой. Ты-то это прекрасно знаешь.

— Меня ждет та же участь, но только бабушка в мужском роде, — пытался рассмешить ее муж. — И буду очень рад, когда мы полетим к Эрике в Чикаго уже в качестве бабушки и дедушки. А сейчас, поверь мне, не стоит, Джесси, не срывай репетицию. Напрасно.

Джесси заколебалась.

— Ну хорошо. У меня еще целых полчаса, даже больше. Но что же будет теперь со всеми? Эрика уже на седьмом месяце беременности. А может быть, и у нее тоже была на лбу метка Кассандры? Ведь никто не знал тогда ни о чем. Представь, а если бы Эрика забеременела недавно?! Я бы ночи не спала. — Джесси замолчала и, немного успокоившись, добавила: — Сейчас приготовлю тебе кофе, Роберт, а потом уже поеду.

— Я и сам могу, не беспокойся.

— Нет, я сейчас. Кстати, звонил среди прочих некто Энтони Юнгер от Ордока.

— Юнгер? А, понимаю. Ну и что он сказал?

— Сейчас приду, расскажу.

Пока жена готовила на кухне кофе в старой их кофеварке, действующей на пару и потому прозванной паровозом, Роберт Борк устало сидел в кресле, откинув обвисшие руки, и пребывал в странном состоянии, точно он был здесь посторонним. Он даже огляделся вокруг. Оглядел, как будто впервые, большую гостиную, обставленную массивной мебелью, в том же стиле были когда-то приобретенные Джесси в Венеции люстра и большое зеркало над камином. Рояль, виолончель. Золоченые корешки книг в стеклянных шкафах (основная часть книг находилась в библиотеке, на втором этаже, рядом с кабинетом). И весь этот дом, и сам он, отражавшийся в старинном венецианском зеркале, мосластый и седогривый, как старый конь, некогда выделявшийся крупной статью, воспринимались им в тот час с чувством некоей отчужденности; он как бы отстраненно видел свою былую жизнь, вещи, связанные с той жизнью, самого себя, малознакомого, замкнувшегося, погруженного в непривычные размышления. Он даже подумал: «Неужели мне надо больше всех, отчего я так переживаю, точно действительно пришел конец света?! Но может быть, вся предыдущая жизнь моя была всего лишь прологом, чтобы теперь ткнуться в неведомое? Шарить, как незрячий в поисках скрытой двери? И что я постиг, подвизаясь в футурологии, прожив в общем-то спокойную, упорядоченную жизнь преуспевающего ученого мужа? И вот последний акт судьбы в лице космического Филофея. Что это значит? Момент истины? Расплата за аванс? Так ли это? Кто для меня Филофей? Никто, если подумать. Но что же я не уймуся? Значит, что-то меня с ним связывает? То киты снятся, а теперь...»

И отделаться не мог от этих мыслей, не мог уйти от сомнений. И о чем бы теперь ни подумалось, приходилось исходить из открытий космического монаха. Приходилось все сопоставлять — все, что было до, и все, что стало после...

Джесси принесла кофе, и опять разговор вернулся к прежней теме. Оказывается, Энтони Юнгер, отрекомендовавшийся почитателем трудов Роберта Борка, звонил от команды кандидата в президенты, пытался дозвониться Борку в университет, но не застал и просил передать, что будет еще звонить, во второй половине дня. Когда Джесси поинтересовалась, не может ли Борк сам ему позвонить, Юнгер ответил, что его будет сложно застать, он все время будет в бегах, у них сегодня суматошный день, готовится встреча Ордока с избирателями, а затем большая пресс-конференция, в общем, хлопот много, а ему очень хотелось бы поговорить с Борком. «Давно мечтал поговорить, а сейчас есть повод. Передайте, пожалуйста, у меня есть информация и вопросы. Очень хочу дозвониться».

И вскоре после отъезда Джесси на репетицию раздался звонок. Это был он, Энтони Юнгер. — Мистер Борк, вам не кажется, что у нас с вами есть общий друг — по имени Филофей, и знакомство наше с вами, к сожалению пока телефонное, происходит в общем-то с его подачи?

— Согласен. Этот космический монах многое будет определять теперь в нашей жизни.

— Об этом-то и речь, мистер Борк. И думаю, вам это виднее, чем кому-либо. И проблема теперь в том, каков будет ход событий, или, как образно выражаются русские, куда повернет дышло истории.

Хочу похвастаться, чтобы вы знали, я недурно говорю по-русски. Стажировку прошел в Московском университете. Вдруг да окажусь вам полезным в этом качестве, буду рад.

— О, это замечательно, — не без удивления отозвался Роберт Борк, отмечая про себя уверенность и звучность речи Энтони Юнгера. «Весьма энергичная натура! — подумалось ему. — Сколько же ему лет?» — Я тоже бывал в России при Горбачеве, — откликнулся он на русскую тему. — Москва, Ленинград, Киев. А скажите, Энтони, сколько вам лет? Просто любопытства ради.

— О, пожалуйста! Хотел сказать для пущей солидности — тридцать, но буду точным — двадцать восемь с половиной, — ответил тот. — Пора, пора уже за ум братья. Что еще сказать? Москва мне многое дала — другой полюс жизни и знаний, но кагэбэ я завербован не был. Сразу заявляю! — Они оба засмеялись этой модной в Америке шутке.

— Извините, Энтони, по возрасту вы мне в сыновья годитесь. А поинтересовался я этим потому, что при серьезном разговоре важно знать возраст собеседника.

— Я тоже так думаю. Ну, о вас я знаю, пожалуй, все. Читал ваши книги, в последнее время очень внимательно перечитывал вашу статью «Девять дверей глобального дома».

— Да, это была попытка синтеза мировых идей в области футурологии. Спасибо, я очень польщен, — пробормотал Борк.

— А сам я, кстати, в академическом смысле неопределенный тип, — проронил с усмешкой Энтони, — собран из лоскутов знаний, судорожно хватался за все — от философии до астрологии, когда-то мечтал о космосе. Занимался и профсоюзными делами, и журналистикой, отсюда мое сближение с Оливером Ордоком. Он делает ставку на популизм, и в этом его сила. Ему нужно сейчас помочь в предвыборной гонке. Вот мы и стараемся. Я у него в команде занимаюсь связями со СМИ. Вот сегодня, к примеру, через три часа — публичная встреча с избирателями в спортзале «Альфа-Бейсбол». Масса народу, прямая телетрансляция. А затем, уже поздно вечером, — пресс-конференция и тоже с прямой трансляцией по нескольким каналам. Я все это вам говорю, мистер Борк, не случайно. Возможно, вам интересно будет посмотреть, что у нас, то есть у Ордока, получается, а что нет. Извините, у вас есть время, я не мешаю своими разговорами?

— Нисколько. Я тебя слушаю, Энтони.

— Так вот что мне хотелось бы отметить в этой связи, чтобы вы знали. Утром мы все собирались в кабинете Ордока, человек двадцать нас — помощников, экспертов и прочих, и первое, что он сообщил, — о том, что у него с вами был вчера продолжительный телефонный разговор о послании космического монаха.

— Да, был, — подтвердил Роберт Борк.

— Это прекрасно, что Ордок советовался с вами по поводу того, что у всех сейчас на уме и на языке. Политик он, активно набирающий популярность, но никак не пророк и...

— Энтони, любезный, — прервал его Борк. — Я знаю, что это ты надоумил Ордока обратиться ко мне. Но ведь и я далеко не пророк. Ты думаешь, я обладаю способностью мгновенного прозрения? Я сам был бы готов обратиться к кому угодно, чтобы мне помогли во всем этом до конца разобраться. Ты звонишь ко мне так, как будто общепризнано, что я знаток всего этого. А я не могу гарантировать беспорности своих суждений. Это надо учесть.

— Я рад, что это так! — удивил своим ответом Энтони Юнгер. И голос его зазвенел увлеченно.

— Чему же ты рад?

— Тому, что интуиция меня не подвела. Хотя и говорят, что в своем отечестве нет пророка, сейчас я еще раз убеждаюсь, что вы тот самый мыслитель, с которым и должен был прежде всего проконсультироваться политик, претендующий на президентское кресло. Ордоку сегодня предстоит держать речь, отвечать на вопросы целого стадиона избирателей. И дело не в том, удастся ли ему с ходу завладеть мешком общественного мнения и взвалить его себе на спину. Важно, что ваши взгляды станут таким образом достоянием масс. Я говорю это, исходя из того, что сказал нам утром Оливер Ордок.

— А что он вам сказал?

— В общем, я понял, что он, опираясь на ваши оценки, склонен комментировать открытие Филофея как реальность, с которой нельзя не считаться всем людям, во всех слоях общества, во всех странах света. Не так ли? По-моему, так? Ордок примерно так сказал.

— Принять к сведению то, что есть данность, — это одно, это исходная точка. Но что дальше? Как быть с тем, что явилось и продолжает являться причиной появления кассандроэмбрионов? В социальном, историческом, психологическом плане? Вопросов тут масса.

— Вы правы, мистер Борк, — проронил Энтони и хотел сказать что-то еще, выразить свое понимание, но Борк снова заговорил:

— Я целиком поглощен этим событием, мне даже кажется, что я сам уже не тот, что был вчера, и надо заново осмысливать жизнь, хотя мне пора бы думать о ее завершении. Филофеевское открытие опрокидывает наши прежние взгляды на человеческую судьбу. Обнажилось то, в чем мы прежде не хотели себе признаваться. Прогресс, цивилизация, казалось нам, оправдывают то негативное, чем они сопровождаются. Лес рубят — щепки летят. Есть такая поговорка у русских.

— Да, очень распространенная. Сталин, к примеру, так оправдывал щепки массовых репрессий. Но продолжайте, я вас внимательно слушаю.

— Так вот. Что я хотел сказать? Филофеевское открытие обнаруживает, безжалостно обнажает то обстоятельство, что на протяжении всей истории, из поколения в поколение, люди систематически истязали друг друга и мир, в котором они живут, и в силу этого лишились очень многого на пути своем; очень многое, чего они могли бы достичь в своем историческом совершенствовании, безвозвратно упустили. Ну, вот представьте себе даже схематически. Разве все эти нескончаемые войны, и так называемые славные в том числе, все эти революции, бунты, восстания, преступления, жестокость властей, деспотизм учений и идеологий — разве все это, вместе взятое, все, что постоянно корежит, выкручивает жизнь, судьбы, делает народы постоянно взаимоненавидящими, людей — алчными существами, разве все это, если исходить из Филофея, не находит свое выражение в бессловесном протесте кассандро-эмбрионов, число которых все возрастает? Отказ их от жизни — это ли не предчувствие конца света? И вот получается: эсхатологический миф, в который по инерции бытия мало кто верил до конца, становится наглядной реальностью. Обо всем этом я пишу в статье, над которой сегодня ночью начал работать. Оливер Ордок, разумеется, может иметь на Филофея и его открытие свою точку зрения, но в любом случае и он, и его команда — вы все должны понимать, с какого рода сложной материей мы имеем дело. Примерно об этом я и говорил вчера Ордоку.

— Каюсь, что я вовлек вас и сегодня в длинный телефонный разговор. А в душе радуюсь — я узнал то, что хотел узнать. Конечно, я с вами согласен, есть еще многое в филофеевской теории, о чем следует думать и думать. Но как бы то ни было, он задал нам неслыханную задачу. Всем до единого, всем смертным на Земле! Вот это личность! Он повернул ключ Вселенной! И если придется нам, простите, отдуваться за все предыдущие века — а дело идет к тому, — за все, что было сотворено, как вы изволили выразиться, алчными существами, то есть нами, всеми нами и всеми до нас, то к кому же апеллировать, как не к самим себе?! Стало ясно, что зло не уходит бесследно, безответно вместе с теми, кто его творил, а оседает где-то в бункерах генетики до поры до времени. И выходит, кто-то рано или поздно должен расплачиваться за это отречением от самой жизни?!

— Да, получается так, Энтони. Дело в том, что мы мало думаем о соотношении добра и зла, неизменно сопрягая их в единой связке, мало думаем о том, что зло — преобладающая сила, что зло губит, постоянно убивает в нас наше истинное предназначение, губит наши вселенские ресурсы, не дает разуму поднять голову, чтобы распознать иные способы бытия, когда человек стал бы качественно иным, чем сейчас.

— Мистер Борк, а вы думаете, что, физически оставаясь такими, какие мы есть, люди могли бы обладать качественно другим интеллектом, могли бы быть существами с иной матрицей поведения?

— Вполне вероятно. Ведь мы были предоставлены сами себе, оказались единственными разумными существами во Вселенной. Никакой конкуренции ни с какими тварями. Мог ли у нас быть другой тип духовной эволюции, принципиально другое развитие? Об этом можно думать, спорить. В чем, однако, людям не отказать, так это в том, что, чего бы мы ни достигали в развитии науки и техники, мы всегда оставались и, к сожалению, остаемся зверьми, пожирающими себе подобных.

— Жаль, черт возьми, очень жаль. Выходит, космический монах накрыл нас с генетическим полицизмом?! Но, как это ни глупо, меня некоторым образом задевает то, что мы могли бы быть иными, чем мы есть. Нет ли, мистер Борк, в этом утверждении привычной идеалистической мелодии, уносящей нас в мазохистские переживания?

— Разумеется, есть, поскольку мазохизм — это жалоба в пустыне на отсутствие леса.

— И что же вы предлагаете, если такого леса нет и не будет?

— Пожалуй, одно — выращивать в себе лес новых прозрений.

— Что это значит?

— Что это значит? Цепкий ты журналист! В свете филофеевских открытий это может означать одно: нужно внять сигналам кассандро-эмбрионов, каждую мету Кассандры воспринимать как предупреждение. Только так можно остановить зреющий внутри нас конец истории от страха родиться на свет. Проникнуться сознанием того, что надвигается генетическая катастрофа, необходимо буквально каждому и всему человечеству в целом. Я как раз об этом и пишу в своей статье для «Трибюн». Извини, Энтони, по телефону всего не скажешь. Коротко говоря, ответственность человечества перед потомством отныне приобретает новый характер, возможно, это новый виток эволюции. Вчера примерно об этом же я говорил Ордоку. Он тоже озабочен.

— Да, мистер Борк, в этот раз нашему Ордоку придется туго еще и потому, что подобная ситуация не для его, как говорится, политического репертуара. Таких политиков, как Ордок, я называю турнирными. Ордок уверенно действует, когда у него есть наглядный враг, и тогда он наступает, и это должно быть на виду, публично. В узком кругу он даже применяет понятие «необходимый враг». Вот тогда он на коне. А тут, видите ли, некая абстракция!..

— Не совсем так, Энтони. Такая абстракция может мгновенно превратиться в конкретику. Причем в очень жесткую. Поскольку дело касается жизни людей.

— Да, разумеется. Я просто хочу отметить психологическую особенность Ордока. Но это и форма его политического существования. Но это все к слову. Я заканчиваю, мистер Борк, виноват, с вами не наговорюсь. Не разрешайте мне звонить, а то вам жизни не будет.

— Хорошо, хорошо, Энтони. Возникнет необходимость, почему бы и не поговорить.

— Пока, мистер Борк. Значит, если захотите посмотреть передачу, — митинг в «Альфа-Бейсбол» с шести до восьми, а пресс-конференция в отеле «Шератон» — с девяти до десяти.

— Спасибо. Буду иметь в виду...

Глава шестая

Тот осенний день просился быть увековеченным на живописном полотне с пронзительной серебристостью воздуха, с бесшумно опадающей на глазах разномастной листвой, со стаями отлетающих птиц, прощально кружащихся над крышами загородных домов... И слышались где-то по соседству голоса играющих детей. Тишину, умиротворение дарил тот солнечный день всему живому — созерцание собственного бытия...

Так бы и завершился в черед своей тот чудесный Божий день, и ничто течению жизни, казалось бы, не мешало. Но приближалось некое событие, пока еще незримое, пока еще назревающее, пока еще накапливающее электричество, чтобы дать затем о себе знать. Для этого людям предстояло собраться вместе. И как можно большему количеству скопиться, как можно гуще и плотней сбиться в единую, горячо дышащую массу.

Роберт Борк посматривал на часы и ловил себя на том, что ждет предстоящей встречи Ордока с избирателями с таким волнением, точно это ему, Борку, предстояло выступать с речью, добиваясь президентского кресла, точно это перед ним лично стояла задача, как выражались газетчики, овладеть текущим моментом, добиться у публики доверия и поддержки. Борк и сам не мог понять, с какой стати, почему он так волнуется. Казалось бы, ничего особенного — дежурное мероприятие в ходе предвыборной кампании и не более того. Стоило ли вообще думать об этом? Стоило ли придавать такое значение ординарному событию, так волноваться о том, что не имело к нему никакого отношения. Чудак и только! Болельщик нашелся.

Но как бы он ни посмеивался над собой, душа у него болела, он просто не находил себе места. Его все время тянуло из дома в каменный сад, где обычно, прохаживаясь неподалеку или вычерчивая на песке якобы магические знаки, слушал он в раскрытое окно доносящуюся от проигрывателя музыку. Слушал ее и сейчас. В этом искал он успокоения, в бетховенской симфонии, в ее мощи и космичности, надеясь, что музыка, как это бывало нередко, отвлечет его, уведет в свой мир, в иные переживания, к иным, ничем не регламентированным мыслям и фантазиям, которым он здесь обычно предавался. Он любил размышлять о том, что музыка — это одна из неисчислимых трансформаций солнечной энергии, что она исходит из недр Вселенной, а композитор, как радар, улавливает музыку из космоса, формирует ее, гармонизирует, делает ее конкретно звучащей. Иначе говоря, музыка — это звуковое преобразование вселенского Пространства и Времени. Разумеется, этими своими «открытиями» он не делился ни с кем, люди посмеялись бы над ним. Даже Джесси не знала. И еще была у него одна теория, о которой он тоже не распространялся, хотя очень хотелось иной раз и высказаться: думалось ему иной раз, что музыка дана людям в компенсацию трагической краткости человеческого века. Когда человек слушает музыку, погружается в нее, он вступает в надличностную категорию времени, он включается в течение бесконечности, и жизнь его удлиняется, продлевается в соприкосновении с вечностью, возможно, на десятилетия, столетия и более того, но продлевается не в линейном измерении, а в измерении, природа которого еще не раскрыта. И очень вероятно, что никогда не будет раскрыта.

В этот раз, однако, Борк убедился, что для подобного восприятия музыки нужна определенная предрасположенность, определенное настроение, как перед молитвой, как перед отплытием в море... Этого-то ему сегодня и недоставало. И музыка не помогала. К тому же Джесси задерживалась на репетиции. Был час пик и неизбежные в это время заторы на дорогах. А Борк дома тоже очутился как бы в заторе. Дело не двигалось, он не брался за то, что должен был срочно закончить. Ведь «Трибюн» хотела получить обещанную им статью как можно скорее. А он, прекрасно сознавая, что жатва сенсации на газетных полосах не терпит промедлений, не мог заставить себя сегодня сесть за компьютер. Все откладывал, уверяя себя, что в крайнем случае опять будет работать ночью, что не подведет газету. Досадовал, метался и вместе с тем предвкушал, какой прекрасный текст ляжет на бумагу; он это чувствовал почти физически, текст прорастал в нем, как трава после бурных дождей. Статья, что называется, сама просилась в работу.

Но он бездействовал в напряженном ожидании того, чего, казалось бы, не должен был ждать, что, казалось бы, не касалось его. Этот грандиозный предвыборный митинг, который должен был состояться в самой густонаселенной части города, в знаменитом спортзале, где будет битком всякого народу, почему-то мерещился ему чуть ли не возле его дома, на террасе, на газонах, в его каменном саду. Казалось, что толпа обступает его дом тяжелой массой, стесняя его дыхание... Он обзывал себя параноиком. Как может привидеться такое?

Он ходил взад-вперед то в дом, то из дому, поглядывал на часы, музыку слышал краем уха, на телефонные звонки не отвечал, а телефон звонил, и достаточно настойчиво. Большой телевизор в гостиной обходил стороной, не хотел преждевременно включать; о том, что могло передаваться в тот час по многочисленным каналам, можно было сказать не глядя — все та же телесуета... Джесси все еще задерживалась...

Он был в каком-то неприкаянном состоянии, не мог сосредоточиться. Но приходили и серьезные мысли. Например, о том, что в разговорах в университете, да и с журналистами из «Трибюн» почему-то не затрагивался тот факт, что обращение космического монаха Филофея было адресовано персонально папе римскому. А ведь легко было понять, что папа тем самым был поставлен в очень сложное положение — как быть, отвечать ли в прессе на столь нетрадиционное, если не сказать одиозное, обращение некоего самозванного монаха или нет, а если да, то что отвечать?

Роберт Борк живо представил себе, какие невероятные волнения могут возникнуть в разных религиях, когда проблема кассандро-эмбрионов станет предметом повсеместных обсуждений и споров. Вот где таилась одна из опасностей на пути филофеевских открытий.

Ведь религии, заключающие в себе и муки, и вдохновение вековечного порыва человеческого духа в жажде недостижимого слияния с Богом, в той же степени себе на уме — Бог Богом и даже Бог один для всех, но свое есть свое, а чужое — это чужое, свое и чужое — вещи несовместимые. Отсюда пристрастность, амбициозность, эгоистичность различных вероучений в утверждении своих приоритетов на обладание истиной, что главным образом и порождает противостояния в мировых структурах духовенства и, в свою очередь, отчужденность, взаимонепонимание верующих масс. Пожалуй, по этой-то причине в каждой религии найдутся определенные силы, полагал Роберт Борк, которые непременно попытаются обернуть открытие Филофея в свою пользу при любом раскладе — или предавая космического монаха анафеме и набирая тем самым политический капитал, или приспособив открытие тавра Кассандры к своим доктринам, чтобы тем самым расширить диапазон культа и приумножить свое влияние на верующих.

И снова думалось ему о том, что, бывало, приходило на ум, поначалу мимоходом, а потом все настойчивее и настойчивее, о чем он тягостно размышлял в поездках по странам, на всякого рода международных научных конференциях, не осмеливаясь, однако, высказывать эти мысли напрямую. Что было бы, как обернулась бы жизнь отдельной личности, как сложились бы судьбы людские, если бы каждый человек на Земле был волен исповедовать в равной мере все религии, если бы дано было человеку обрести повсеместно право ничем не регламентированной, свободной причастности — если он, разумеется, верит в Бога, — ко всем существующим религиям в одинаковой мере и с одинаковым «статусом», когда бы он был приверженцем не какой-то отдельной конфессии или секты, исключаящих все остальные верования, а мог бы быть членом ассамблеи мировых религий и был бы признаваем ими всеми без каких бы то ни было оговорок, когда бы он мог считать себя и христианином, и мусульманином, и буддистом, и иудаистом и прочим в этом ряду верований, и каждой религии — его любовь и уважение, а ему — признание его всеми культурами, и он бы свободно принимал их идеи и нормы, но не сектантские, не изоляционистские, а общерелигиозные. Тогда не было бы между людьми негласных и гласных барьеров религиозного характера, что особенно важно для смешанных поликонфессиональных обществ в гигантских городах и густонаселенных странах. Может быть, такое положение вещей значительно облегчило бы, гармонизировало бы жизнь человеческую? Может быть, пришла такая пора, такая историческая эпоха, когда навстречу человеку все религии могли бы пойти сообща, а не порознь и не толкаясь локтями? Чтобы человек конца двадцатого века мог заявить в отличие от прошлых поколений — все религии мои, и я носитель всех

религий, я захожу во все храмы всех культов, и во всех храмах я — желанный паломник... Я был рожден христианами, я был крещен, а погребен буду под стихи из Корана, сегодня я был православным с православными, вчера был мусульманином среди мусульман, в Японии я поклонялся Будде, в Швеции я вторил тезисам Лютера... Никому я не чуждый в своей вере в Бога, и мне нет чуждых молений, обращаемых человеком к Творцу нашему на всех языках и наречиях. Творцу, одинаково внемлющему всем нам, одинаково страдающему от злодеяний наших и одинаково отворяющему для всех нас Вселенную по мере мудрости и по мере добродетели нашей...

Религиозная ассамблейность не ослабила бы идею Бога ни в одной из существующих религий, а, напротив, придала бы им свойства универсальности, открытости, динамизма и, самое главное — обнажила бы человеколюбивую основу религий в ее исходной сути, в деяниях, а не только в прекрасных теориях...

Борк, безусловно, понимал, что это скорее всего странная, а возможно, и нелепая идея, и что вряд ли она осуществима, что можно думать об этом только для себя и про себя, что следует быть чрезвычайно осторожным в такого рода глобалистских высказываниях, чтобы не задеть истово верующих, их жизненной установки, что подобная идея может вызвать шок. Именно эти соображения сдерживали желание футуролога Борка огласить на свой страх и риск то, что вынашивалось им втуне. Воздерживался, даже когда очень подмывало, когда актуальность религиозного космополитизма была очевидна, как искомая истина, как совершенно необходимая модель нового духовного общения людей и религий. Это был бы совместный шаг в поисках Бога, а не разрозненные попытки соперничающих культов «преуспеть» прежде других.

Он хорошо представлял себе, какое страшное возмущение культовых иерархий может породить идея индивидуальной поликонфессиональности, какой шум поднимется, какие камни полетят на его бедную голову, в каких грехах, в каком кощунстве, в какой мировой ереси он будет обвинен. Если эгоизм и корысть — изначально присущие и чуть ли не биологические свойства человеческой природы, то никак не следовало сомневаться в том, что такие действия непременно последуют. И тогда даже участь злосчастного Салмана Рушди, приговоренного к смертной казе мусульманской иерархией, кровно оскорбленной за своего великого пророка, при сопутствующем безразличии других религий, даже такая участь могла бы показаться еще завидной: как-никак Салману Рушди пока удавалось находить себе укрытия, а ведь весьма вероятно, что в случае у ратующего за поликонфессиональную интеграцию верующих не будет и такой возможности, что ему, еретику, везде отверженному и отовсюду гонимому всеми разгневанными культурами, не найдется на Земле места приклонить горемычную голову, что не будет ему пристанища нигде и никогда? «В этой ситуации тебе осталось бы разве что удалиться в космос, к Филофею, — иронизируя над собой, подумал Роберт Борк, и пришла вдруг мысль в голову: — А ведь в самом деле, может быть, судьба для того и удалила Филофея на космическую орбиту, чтобы он мог оттуда, с недостижимой высоты, сказать людям на Земле правду?»

Занятый этими нахлынувшими мыслями, Борк чуть было не пропустил начало трансляции предвыборной встречи. Глянул на часы — было уже шесть. Он кинулся в гостиную, к телевизору. Успел в самый раз! Ведущий приглашал телезрителей к экранам на прямую передачу из спортзала «Альфа-Бейсбол» встречи избирателей с независимым кандидатом в президенты Оливером Ордоком.

И открылась панорама многолюдия под сводами спортзала. Народу было — не окинуть взглядом. В эфире стоял приглушенный гул голосов, похожий на гул роящихся пчел. Перед Борком проплывали лица, их выражение, море лиц разных типов, цветов кожи. Оформление места действия свидетельствовало о том, что команда кандидата поработала совсем неплохо. Под куполом спортзала висел огромный воздушный шар с портретом улыбающегося Ордока. В разных местах маячили транспаранты: «Он знает социальные низы», «Ордок — будущий президент!», «Ордок выдвигает новую экологическую программу», «Безработные верят в Ордока!», «Феминистки требуют приоритета!», «Отдадим голоса за нашего Ордока!» и тому подобные. Операторы работали мастерски, показывая плакаты крупным планом. И всё разворачивалось, как и положено натакого рода публичной встрече. С шумом, с гамом, с эстрадной музыкой, с бодрыми голосами

комментаторов, с полицейскими, невозмутимо наблюдающими за порядком. И сам Оливер Ордок выглядел, как и подобало виновнику торжества. Движения его были уверенными, при своем, едва ли среднем росте он демонстративно высоко держал голову на выпрямленной жилистой шее. Улыбка оживляла его блеклые, стертые губы, глаза умело прятали за той же подвижной улыбкой настороженность и реактивность. Чем-то он очень напоминал бывалого конферансье, умеющего окупать свой небольшой рост бодростью, подвижностью, неожиданным тембром голоса. Ордок проходил к трибуне под дружелюбные аплодисменты зала, в сопровождении шедших по сторонам консультантов и помощников. С появлением кандидата в президенты кучкующиеся фоторепортеры мигом нацелились, наперебой защелкали аппаратами, засверкали вспышками. В эту неполную минуту эфирного времени атмосфера публичной встречи предстала именно такой, какой и следовало ей быть перед началом митинга, лишней раз подчеркивая при том американскую демократию в действии и деловитость устроителей предвыборной кампании.

И у Борка, непонятно почему весь день беспокоившегося, томившегося напряженным ожиданием, несколько отлегло от сердца под впечатлением обыденности демонстрируемого, и он даже упрекнул себя в излишней нервозности.

И действительно, в этой массе людей, внимание которых было сфокусировано на одном персонаже — на Оливере Ордоке, чья речь, усиленная микрофонами, раскатывалась под сводами огромного зала потоком слов и восклицаний, трудно было уловить нечто, выходящее за пределы нормы. Ордок выступал довольно умело, затрагивал актуальные проблемы, был счастливо прерываем несколько раз аплодисментами, когда попадал в цель, когда касался животрепещущих вопросов. Кандидат в президенты делал все от него зависящее, чтобы удовлетворить, завербовать, пленить толпу в обмен на ее политическое доверие к себе. Для этого он хлестко критиковал уходящего президента, критиковал конгресс, критиковал сенаторов, средства массовой информации, какие-то корпорации и компании, финансовые структуры, которые и по отдельности, и все вместе взятые чего-то недоделали, чего-то недодали, скрыли доходы, лишили возможных благ этих людей, а он обещал им все это восстановить и воздать многократно. И эта часть выступления ему очень удавалась, весь зал возбуждался, и на этом он, Ордок, расцветал, возрастал в своих глазах и в мнении собравшихся. Это был успех.

Роберт Борк внимательно следил за Ордоком, пытаясь представить себе, в какой мере тот держит в уме вчерашний их телефонный разговор. Нет, о послании космического монаха Ордок пока не обмолвился ни словом. Быть может, это было и к лучшему, быть может, на таком огромном политическом сборище и не следовало затрагивать подобное? Быть может, Ордок задался целью заговорить, увлечь, увести толпу в густой лес актуальных проблем повседневной жизни с тем, чтобы этим исчерпать регламент?

Но как бы то ни было, провести толпу, миновать феномен Филофея Ордоку не удалось. Первый же вопрос от микрофона в зале был именно об этом:

— Мистер Ордок, — раздался звонкий женский голос. — Мое имя Анна Смит, я школьная учительница. Не могли бы вы сказать, что вы думаете о послании из космоса монаха Филофея, опубликованном в «Трибюн»? — Женщина стояла у микрофона в проходе, выпрямившаяся и взволнованная.

Люди в зале колыхнулись, как на палубе корабля, на который внезапно налетела крутая волна. И гул голосов прокатился и угас в ожидании ответа. Это был момент, подобный тем, которые обычно называют поворотными.

— Да, уважаемая Анна Смит, — сказал после паузы Оливер Ордок, заметно сжавшись, изменившись в лице, — я читал этот документ и много думал о нем. И не скрою, предполагал, что вопрос такой возникнет и на нашей встрече, хотя, конечно, он, если уж на то пошло, не имеет прямого отношения к предвыборной кампании. Но то, что волнует вас, уважаемые избиратели, интересует и меня. Тем более что данный вопрос касается, надо полагать, всех и вся. Так вот что я хотел бы сказать в этой

связи, — продолжал Ордок. — Конечно, я не сосредоточен на подобных проблемах, далеких от политики. Но мне думается, что открытие монаха, а вернее, большого современного ученого Филофея, говорит о том, что для человечества наступает время испытаний. Увы, самооценка наша оказалась явно завышенной. Вы все читали газету, понимаете, о чем речь. Сигналы Филофея надо принимать как предупреждение о близящейся катастрофе. Так получается!

Телеобъективы тем временем ползали по залу, выхватывая, укрупняя лица присутствующих, замерших с напряженным ожиданием в глазах. Роберт Борк застыл перед экраном, очень сожалел, что в этот час он не в зале. Сумеет ли Ордок убедить людей?

— А что же делать? — переспросила тем временем учительница в наступившей тишине. Ее вопрос прозвучал искренне и отчаянно.

— Я думаю, — отвечал на это Оливер Ордок, — что каждый должен решать сам. — В зале послышался глухой рокот возгласов. — Ну а если по большому счету, — начал рассуждать Ордок, пытаюсь погасить рокот в зале, — то, конечно, необходимо предусмотреть соответствующие программы предупреждения катастрофы, то ли социальной, как трактует Филофей, то ли биологической, принимать меры по борьбе с явлениями, вызывающими эсхатологическую реакцию кассандро-эмбрионов, то есть стремление отказаться от жизни.

— Позвольте мне сказать! — раздался еще один женский голос. Какая-то женщина типа мулатки, брюнетка со сверкающими металлическими серьгами, в желтой блузке с распахнутым воротом, весьма решительно возникла у микрофона в одном из проходов между рядами. — Я не могу молчать, и мы не должны молчать! — заявила она, оглядываясь по сторонам. — Да, у нас совсем не легкая жизнь в наших кварталах. Но мы всегда жили, желая иметь детей, радуясь их рождению. И пусть никто в это не вмешивается! Какое ему дело, космическому монаху?! Почему он преследует меня? Почему вмешивается в мою личную жизнь? Я категорически протестую!

В зале вновь пошел гул, и многие присутствующие согласно закивали головами, иные вставали с мест и махали руками в знак одобрения.

Ордок пытался успокоить мулатку:

— Да, я вас понимаю, мадам, но ведь появление тавра Кассандры от нас не зависит. Мы должны открыть глаза на то, что это — существующая реальность.

— Если с трибуны будущего президента потакать этому космическому монаху, тогда другой разговор! Пусть он явится сюда, пусть скажет нам, женщинам, чем мы прогневали небеса, на которые он забрался и шпыняет нас оттуда, позорит на весь мир! — не унималась женщина, сверкая штампованными серьгами и возбуждая вокруг волну солидарного с ней протеста. Возможно, она и дома умела закатывать сцены, а быть может, у нее не было ни дома, ни мужа. «Какое несчастье, — шептал себе Роберт Борк, — какое трагическое заблуждение. Она так страдает, и ее можно понять».

А женщина, еще больше неистовствуя, продолжала:

— Вам легко рассуждать, легко называть его гениальным ученым. Он, мол, открыл нам глаза. А для меня этот тип на орбите — негодяй! — выкрикнула она, выплескивая ярость.

При этих словах гудящий зал разом онемел, на секунду воцарилась полная тишина. Никто не одернул ее, никто не попросил ее придерживаться общественных правил поведения. Не посмел напомнить ей об этом и сам Оливер Ордок, оказавшийся в нелепом положении. И последовала сцена, потрясшая в Америке многих из тех, кто в тот час оказался у телевизора.

— Вот, смотрите, мне нечего скрывать, вот смотрите, как мне быть?! — выкрикнула женщина, нервно дыша, и ткнула пальцем в свой лоб. — Вот уже несколько дней на лбу у меня эта самая

напасть, пятно, тавро Кассандры, как именуется эту гадость космический дьявол! — и лицо ее предстало на телеэкране крупным планом, и ясно стало видно в ту минуту на лбу у женщины зловещее багровое пятнышко, ритмично пульсирующее, как тревожный сигнал.

— Я уж и кремом, и пудрой замазывала, — проговорила она, прикрывая ладонью мелко дрожащие губы. — Не помогает. Не исчезает. Ни днем, ни ночью! И выходит, я на контроле у этого злодея из космоса? И выходит, он мне тычет в глаза: смотри, мол, твой зародыш — против тебя же, против матери, против жизни, он шлет сигналы, чтобы его умертвили! Выходит, он не желает родиться, он боится жить? Так выходит? А кто ему внушает такое отвращение к жизни, кто его толкает к смерти, еще не родившегося, кто его принуждает отречься от белого света? Кто вмешивается в мою личную жизнь? По какому праву меня облучают какими-то страшными зондаж-лучами из космоса? Вот мы сидим здесь, а он, этот, как нам внушают, гениальный Филофей, шарит своими лучами из космоса, ищет в женщинах кассандро-эмбрионы. Контролирует нас! Тычет нам в глаза, какие мы дурные! А что поделать? Думаете, я одна такая? Да и в этом зале наверняка есть такие же, как я, может быть, эти женщины еще не знают, что у них тавро Кассандры?! И вот что прикажете делать, люди? Как мне быть? Убить зародыша потому, что он страшится жизни? Значит, я, моя судьба, моя жизнь не устраивают его? Или я должна уготовить ему рай земной?! А как? Я бы и рада! Но как я могу исправить мир? Или мне самой повеситься? — и она тяжело зарыдала, рвя на себе волосы, безутешно мотая головой. К ней подбежали с ближних рядов какие-то люди и увели ее, обнимая за плечи.

И опять наступила в зале мертвая тишина. Тысячи людей сидели неподвижно, потупив глаза. И все как будто начисто забыли об Оливере Ордоке, ради которого собрались сюда. И телекамеры уже обходили его на трибуне, то пристально вглядываясь в лица сидящих, то давая общую панораму.

И только тогда появился Ордок на экране, когда он подал голос, чтобы произнести фразу:

— Я не думаю, что мы сможем здесь ответить на все эти вопросы. Возможно, стоит специально... — начал он, но его снова перебил голос из зала:

— Извините, мистер Ордок, — обратился мужчина от микрофона в дальнем углу, — я должен сказать, чтобы вы не думали ничего дурного. Мы за вас, но, видите, все страшно переживают. Я сам врач, и я потрясен, я понимаю эту женщину, она в стрессе, и сколько еще будет таких! Как можно так вторгаться в нашу жизнь кому-то из космоса, кем бы там он ни был?! Во-первых, это нарушение нашей Конституции. Возникает вопрос: мы живем в демократической стране или нет? Мы хозяева себе или нет? Где же соблюдение прав человека? Кто смеет попирает права личности? Кто может принуждать нас жить и действовать в соответствии с какой-то теорией, пусть это даже и научная концепция? Если я не приемлю ее, эту концепцию, если она не в моих интересах, то никто не имеет права навязывать мне тот или иной образ жизни путем лабораторного воздействия на меня. Я внимательно изучил послание Филофея. Я много думал. И тут я с вами не согласен, мистер Ордок, при всем моем уважении к вам. И считаю невозможным следовать рекомендациям Филофея. С научной точки зрения, возможно, он прав, вполне допускаю, но на практике — нет, он не прав. Мы не подопытные крысы!

— Верно! Bravo! Верно говорит! — раздался голоса с мест. И зал забурился.

Телекамеры скользили по лицам, выхватывая то одного, то другого орущего избирателя. В какое-то мгновение телеоператор дал крупным планом самого Ордока. На него страшно и жалко было смотреть. Он стоял на трибуне в полной растерянности, не зная, как ему быть, как остановить дикие страсти, вскипевшие в зале. И именно в ту минуту Борк заметил те самые суповые пятна, вновь появившиеся на лице Ордока, проступившие вдруг откуда-то изнутри, безобразное порождение тихой ярости. Эти суповые пятна, разбрызганные по лицу, были багрово-сизые, горячие и влажные — такое ощущение создавалось на расстоянии, с экрана. Борку и самому стало дурно от всего происходящего, от безысходного нежелания людей видеть в себе источник зла на Земле. Да, неистребимого, неодолимого нежелания понять Филофея. Борку и Ордока стало по-настоящему

жалко, тот оказался в унижительной ситуации. «Вот не повезло, так не повезло, — терзался Борк за своего одноклассника. — Самое главное, чтобы он не пал духом. Только бы он сумел переубедить зал, отстоять свою точку зрения. И тогда он завоюет прежние позиции. Но сумеет ли? О Боже, какая нелепость! Мы обречены, мы не виноваты, но мы обречены на слепоту, когда дело касается нас самих! Несчастный Филофей, если бы он сейчас оказался в этом зале!»

— Я прошу вас, мистер Ордок, от себя и, если ко мне присоединятся, от имени избирателей. Этого нельзя так оставлять! — преодолевая шум, выкрикивал у микрофона тот, что назвался врачом. — Никто не вправе проводить какие бы то ни было эксперименты над гражданами Америки! Этот космический монах имеет в виду все человечество скопом, это его дело, не наше. А мы — американцы. Мы — суверенные личности! Необходимо запретить проведение провокационных облучений на территории Соединенных Штатов! Пусть свое слово скажет Конгресс, пусть свое слово скажут наши федеральные органы!

— Правильно, верно! Надо запретить! — доносились отовсюду крики. — Запретить!

— Спокойно, джентльмены! Прошу вас, дамы! — старался навести порядок от своего микрофона на сцене ведущий. Это был солидный человек в дорогих массивных очках, с четким пробором в напомаженных волосах, строго одетый, судя по всему, для него такой оборот дела тоже явился полной неожиданностью. Он был взволнован, он все время дергал себя за галстук. — Я прошу соблюдать очередность у микрофонов! — призывал он. — Я дам вам слово, только по порядку, прошу вас, пожалуйста, по очереди.

Но было уже поздно. Возле микрофонов в проходах стояли кучками одержимые желанием немедленно что-то заявить, что-то выпалить еще и еще вдогонку тому, что уже говорилось предыдущими ораторами.

И ведущему только и оставалось, что успевать регулировать чередование микрофонов:

— Первый микрофон! Слово второму! Пожалуйста! Третий микрофон! Пятый, седьмой, десятый...

От микрофона к микрофону незримым огнем бежала эстафета выступлений, обретающих нарастающую категоричность, и суть их сводилась к резкому неприятию открытий и идей Филофея, к радикальным призывам гнать его в шею с орбиты, что-де в космосе появился мировой провокатор, злостный вселенский смутьян; а один тип, видимо, из русских эмигрантов, обозвал даже Филофея, по аналогии с кагэбэшными доносчиками, космическим стукачом, доносящим на беременных женщин. Другой же вообще выдвинул предположение, что Филофей — российский агент влияния, заброшенный в космос, что у него задание погубить Америку изнутри, вызвать взрыв генетической бомбы в обществе; еще один высказал версию, что это дело рук международной мафии, которая-де задумала какую-то глобальную акцию с тем, чтобы контролировать современное общество. Выдвигались еще разные страшные версии, пришедшие на ум собравшимся. И дальше пошли в ход извечные стереотипы зла и коварства с добавлением космического — космический сатана, космический дьявол, космический анархист и даже вынужденный комплимент — космический Фауст...

Но поскольку большинство, многие так высказывались искренне, с душевной тревогой, хотя все как один против Филофея, с желанием во что бы то ни стало изгнать из умов и сердец устрашающие выводы из его социально-биологических открытий, ссылаясь при этом прежде всего на историю человечества, умножавшегося и прогрессирующего из века в век, не ведая ни о каких «знаках Кассандры», то все это производило поистине сильное впечатление, особенно когда женщины со слезами на глазах просили спасти их, защитить от вторжения зондаж-лучей в их личную жизнь. И наконец, в ходе выступлений прозвучало требование предложить заняться космическим монахом самой ООН, поставить вопрос в ООН, чтобы принять меры в интересах защиты человечества.

Тяжко, прискорбно было Роберту Борку наблюдать за этими сценами, убеждаясь с горечью, что попытка Филофея приоткрыть истинную сущность грядущего апокалипсиса, предопределенного не глобальной катастрофой внешнего мира, ожидаемой со дня сотворения, с чем не так трудно было всегда примириться, а оползем в недрах наследственности, вызываемым нескончаемыми, все более и более ухищренными и ожесточенными злодеяниями, не встречает понимания у большинства людей. Сказывался сидящий в человеке неизбывный, инстинктивный страх расплаты за вечно совершаемые грехи, за вину перед дарованной Богом жизнью. Однажды дарованной и неповторимой, данной каждому на долгий срок, но не навечно, изначально лимитирование и ограничено в Пространстве и Времени.

На Оливера Ордока невозможно было смотреть спокойно. Борк представлял себе, как гибнет Ордок в собственных глазах, и винил себя в том, что не сумел предвидеть такого оборота событий, хотя по-своему и предупреждал Ордока.

Ордок, по сути дела, оказался в идиотском положении. Он был забыт и брошен на трибуне, как будто эта встреча не имела к нему никакого отношения. Все выступления и реплики относились только к Филофею, именно Филофей, находящийся невесть где, в космических пространствах, был в центре внимания, а не он, Ордок, ради которого устраивался этот митинг. Микрофоны в проходах осаждались рвущимися сказать нечто монаху Филофею, а не ему, кандидату в президенты. А он меж тем продолжал зачем-то оставаться на трибуне. И на его глазах всё превратилось в базар. А всё, что было приготовлено и предусмотрено для внушения избирателям и телезрителям мысли о важности миссии Ордока, оказалось пустым. Воздушный шар под куполом спортзала с портретом улыбающегося Ордока теперь выглядел смешно, эдаким мыльным пузырем. Сам он, бессильный и униженный, был абсолютно растерян. К нему подбегали его советники и помощники, что-то шептали, но он продолжал стоять на трибуне в нелепом ожидании. Глаза его выражали ярость, на лице полыхали суповые пятна. Это был полный провал, провал на глазах всей страны.

Река митинга потекла в ином направлении. И кто знает, чем бы все это кончилось, если бы вдруг не была брошена соломинка утопающему. Откуда-то сбоку на сцену выскочил молодой человек спортивного вида; он решительно подошел к ведущему, продолжавшему дергать себя за галстук и бессмысленно пытаться как-то руководить очередностью выступлений, и, сказав ему что-то, почти силой выхватил из его рук микрофон. И громко сказал, обращаясь к залу:

— Я прошу извинить меня за неожиданное вторжение. Я хочу сделать заявление! Это очень важно!

Шум приугас. В зале наступила недолговечная тишина. И нельзя было терять ни секунды.

— Мое имя Энтони Юнгер, — представился неожиданно появившийся на сцене молодой человек.

«Так вот он какой, значит, это и есть Энтони Юнгер. Видный парень», — подумалось Роберту Борку.

— Оно мало что вам говорит, мое имя, — сказал Юнгер. — Но я такой же избиратель нашего с вами округа, как и вы. Хочу воспользоваться своим правом выступить. К тому же я из команды мистера Ордока, я один из его консультантов. Прошу внимания. Наш митинг посвящен встрече с кандидатом в президенты, а не диспуту по проблемам, кинутым нам из космоса. И поэтому было бы разумно продолжить наше предвыборное обсуждение, а Филофеем заняться в другой раз, поскольку, судя по всему, об этой феноменальной новости предстоит еще немало думать и гадать. Поэтому предлагаю действовать согласно регламенту. Попросим мистера Ордока высказать свои выводы, не отвлекая его на филофеевские проблемы.

Это было более чем своевременно. Скандал удалось приостановить. Борк порадовался за Энтони Юнгера. Примерно таким он его и представлял себе. А дальше произошло то, чего никто, в том числе и Борк, не мог ожидать.

Следовало отдать Ордоку должное — он не упустил возможности перехватить инициативу:

— Да, я продолжу свое выступление, — изготовился он тут же, и что-то блеснуло в его глазах, что-то произошло в нем, судя по выражению его лица, преобразившегося вмиг. Он на что-то решился. — Да, уважаемые избиратели, для того я здесь и стою, чтобы продолжить свое выступление, как сказал сейчас об этом Энтони Юнгер. Но с одной лишь небольшой поправкой. — Он сделал паузу, оценивающе оглядывая сидящих, и пояснил: — Я как раз буду говорить о Филофее, именно о нем, о Филофее, — подчеркнул он. — Буду говорить в продолжение того, что говорилось здесь от микрофонов, в развитие того, что связано с психологическим наступлением на нас из космоса, с радикальной критикой нашей генетической ситуации. Я буду говорить об этом в первую очередь, поскольку живу мнением избирателей, мнением народа. Вот мы здесь все вместе, и для меня это важнее всего. Здесь от микрофонов прозвучали выступления, близкие мне по духу. Я тоже примерно так думал об этом, о той неслыханной агрессии из космоса на наши права и свободы, которые для американской демократии являются высшими ценностями. И я согласен, правильно здесь отмечалось, что Филофей ведет из космоса подкоп под нашу жизнь. А я бы добавил еще — хочет он того или нет, — под нашу демократию в конечном счете. Казалось бы, невероятно, но это так. Это подкоп, затеянный со злым умыслом, с античеловечной целью. И мы с вами еще раз убеждаемся, что коварству дьявола поистине нет границ. Об этом я и собирался высказаться, изложив вначале мнение некоторых известных и, казалось бы, компетентных людей, с которыми мне довелось побеседовать. Но перейти ко второй части выступления, выразить свое собственное отношение к посланию Филофея, как вы понимаете, я просто не успел. То, что говорили от микрофонов, как раз совпадает с тем, что хотел сказать я. И это замечательно, это укрепляет меня в моей позиции. Я полностью разделяю мнение, что над современным обществом неожиданно нависла небывалая опасность. Эта акция человека, назвавшегося монахом Филофеем, нацелена вроде бы на генетические исследования, а на самом деле — это агрессия, сокрушение нашего духа, нашей исторической уверенности в себе, в цивилизации нашей. И обратите внимание, эта агрессия ведется не только с космических вышей, Филофей нашел себе союзников на Земле в лице отдельных людей, считающихся у нас большими авторитетами в науке и общественной жизни. Вот ведь как обстоит дело! И эти люди заодно с Филофеем ждут своего часа икс, готовые немедленно поднять на щит своего космического вдохновителя, чтобы именем его учинить на Земле великую смуту, посеять сомнение в полноценности нашей и, главное, — опорочить наших женщин, отмечая их сатанинскими знаками — тавром Кассандры. Подумать только — тавро Кассандры, предсказательницы бед и несчастий! Ведь и названо вовсе не случайно. С каким коварным намеком! Так будем начеку! Начеку необходимо быть всей нации! Единомышленники Филофея в академических мантиях уже готовы воздействовать на людей через средства массовой информации, принудить их поверить лжепророчеству из космоса. И никакого преувеличения, уверяю вас, это — заговор против человечества. Только так! Вот о чем тревога моя, уважаемые избиратели!..

Зал, как оказалось, только этого и ждал. Загипнотизированные речью кандидата в президенты, люди сидели, не сводя с него замороженных взглядов. Все, что говорил Оливер Ордок теперь, находило в их душах горячий отклик и полное понимание. Люди под сводами спортзала «Альфа-Бейсбол» дышали в тот час единым дыханием, внимали единому зову — слову Оливера Ордока. Безусловно, это была победа. Блестящая победа Ордока после его публичного падения. Он нашел путь к победе, он точно сманеврировал, он безошибочно изменил стратегию и теперь пожинал плоды.

И сам Ордок был уже не тот. Совсем другой человек стоял на трибуне. Видя, как безотказно действуют его слова на присутствующих, Ордок взлетал духом на вираже каждой фразы. И это было редкостное состояние упоения собой, непередаваемого, ненасытного вкушения удачи, состояние особой экспрессии и эрекции слова; ему казалось, что слова его, изливаясь, совокупляются с окружающими и прежде всего с восхищенно глядящими женщинами, и все они, независимо от пола, мужчины и женщины, подставлялись ему и охотно ловили его каждый для себя, и от этого прилиwała в нем мощь, как у жеребца, с громким ржаньем и жарким храпом набегающего на кобыл в табуне; каждое слово добавляло кипящей силы и предошущения близости совокупления со столь желанной и пока еще не достигнутой потенциальной властью. Казалось, сказывался в нем несмолкаемый зов к повелеванию себе подобными, идущий еще от тварей лесных, волчья воля к тому, чтобы не утратить, не расстаться вовеки с тем, что окажется под игом его. Но путь к медовому месяцу власти лежал

через потоки речей, когда слова, сплачиваясь рядами, шли на штурм противостоя щей крепости, в данном случае — идей Филофея и его пока не поверженных единомышленников, о которых он намекал присутствующим, побуждая их к тому, чтобы они смыкались с ним и поднимались на борьбу по мановению его руки. О, это был звездный час Оливера Ордока. И все единодушно восхищались им, кроме одного среди присутствующих в зале, несколько раз мелькнувшего на экране поблизости от трибуны. Энтони Юнгер сидел с краю сцены бочком, стиснув голову, точно пытался заслониться от попадания в него камнем, и бросались в глаза напряженно вздувшиеся вены на крупных кистях его рук, ему было явно не по себе.

А Оливер Ордок тем временем развивал наступление, строил речь таким образом, чтобы вовлечь всех внимающих ему в зале и за его пределами в единый круг задетых за живое, навязать им свою волю и закрепить успех. Это был момент для него исключительный, как если бы он горячо обнимал, тискал и лобызал, опутывая словами, ту, что стремилась ему навстречу и готова была отдаться, ради чего необходимо было действовать быстро и наверняка.

— Когда я говорю о необходимости нашей с вами бдительности, — напоминал он, проникновенно обращаясь к присутствующим в «Альфа-Бейсбол», — то я руководствуюсь интересами общества, чтобы мы с вами не оказались роковым образом жертвами этой неслыханной космической авантюры. Ведь вопрос стоит в глобальном масштабе и в то же время затрагивает каждого, в частности всех присутствующих здесь, на предвыборной встрече, — как обезопасить себя от планетарных экспериментов Филофея, направленных на искажение и деструкцию человеческого генофонда, экспериментов, преследующих цель вызвать в обществе панику, ведущих к исчезновению в нас жизнеутверждающего начала!

— Не будет этого! — раздалась в зале гневные голоса. — Этого мы не допустим!

— Я тоже так думаю, — продолжал Оливер Ордок. — И я положу на это все свои силы. И не остановлюсь ни перед чем. Но как, каким образом обезвредить возникшую космическую опасность и тех, кто на Земле подставляет услужливо плечо Филофею, подогревает обстановку, а говоря по-простому, — мутит воду? Я не намерен изображать из себя эдакого благородного джентльмена, ограничивающегося общими призывами, когда речь идет о судьбах людей и народов. Филофеевцы должны знать — нет и не может быть у нас с ними согласия и тем более готовности следовать за ними в генетическую западню, какие бы высокоинтеллектуальные доводы они ни приводили! В частности, я имел продолжительный разговор с одним футурологом, человеком, в научных кругах известным, имеющим мировое имя, но на деле оказавшимся главнейшим сторонником и, если хотите, идеологическим скаутом космического монаха. В бывшем Советском Союзе молодых людей, которые верой и правдой служили вождю и счастливы были отдать за него жизнь, называли, если не ошибаюсь, комсомольскими активистами. Подручный Филофея похож на них, хотя ему совсем не мало лет, работает он в нашем университете и живет в одном из наших пригородов, — зовут этого человека Роберт Борк!

Наступила пауза, дыхание у сидящих разом перехватило, и затем разом понесся, побежал шепот: «Роберт Борк! Роберт Борк! Это Роберт Борк! Какой-то Роберт Борк!»

— Так вот, уважаемые избиратели. Как я ни пытался, разумеется, очень уважительно выслушивая научные доводы Роберта Борка, как я ни пытался тем не менее обратить его внимание на то, что непозволительно кому бы то ни было игнорировать судьбы живых людей, что Филофей, какие бы научные цели он ни преследовал, вторгается в нашу жизнь разрушительным образом, я увидел, что этот человек пойдет даже дальше, чем сам Филофей. Вот в каких людях под личиной учености скрывается мировое зло! Для Роберта Борка его философские бредни, его вселенские идеи, которыми он затуманивает голову собеседнику и оппоненту, гораздо важнее, чем судьба простого человека, живущего рядом. Этого простого человека со всеми его проблемами и бедами Роберт Борк игнорирует, приносит его в жертву филофеевскому учению, парализующему воспроизводство человеческого рода, лишаящему нас нашего будущего, какие бы соображения научного характера

при этом ни выдвигались. Роберт Борк фанатичен, он всецело за Филофея и готов ему служить, как служат сатане.

— Но позвольте, мистер Ордок! Это же была частная беседа! — не удержался Энтони Юнгер, подбежавший к микрофону ведущего. Он стоял совершенно бледный, с искаженным лицом. — Как можно частную беседу выносить на общий суд?!

— И не собираюсь делать из нашего с Борком разговора тайны, — невозмутимо парировал Ордок. — Если частная беседа затрагивает судьбы человечества, если такие люди, как Роберт Борк, одобряют, оправдывают действия Филофея и торят его теориям зеленую улицу в умах людей, прокладывая ему путь к контролю над всем миром, то с какой стати я должен разыгрывать церемонии?

Гром аплодисментов потряс своды «Альфа-Бейсбол». Телеоператоры металась по залу, выхватывая выражения лиц, чтобы запечатлеть эту небывалую сцену еще одной турнирной победы Оливера Ордока.

Энтони Юнгер попытался было сказать что-то:

— Мистер Ордок, вы не имеете права...

Но зал не дал ему договорить. Все как один стали громко аплодировать с тем, чтобы заглушить его слова, не дать ему вымолвить ни слова, уничтожить его на месте.

Юнгер, однако, продолжал что-то говорить, старался перекрыть захлопывающую его публику, отчаянно размахивал руками, метался, но это только подлило масла в огонь, и все разом стали скандировать, чтобы окончательно загнать Юнгера в угол: «Ор-док! Ор-док! Ор-док! Ор-док!»

Затем, точно по команде, поднялись с мест и стоя, исступленно повторяя имя Ордока, стали бить в ладони: «Ор-док! Ор-док! Ор-док!»

Итак, торжество Ордока достигло апогея. О таком политическом успехе никто из его соперников не смел и мечтать. А его, неказистого с виду, почти тщедушного, с пятнистым птичьим лицом, очень напоминавшего чем-то Геббельса, всеобщий ажиотаж возносил на головокружительную высоту, в сферу магической удачи настолько стремительно, что мало кому могло прийти в голову, что Ордок в эти минуты был от радости на грани обморока. И все-таки он сумел взять себя в руки. Дело было сделано, оставалось его завершить, оставалось закрепить успех. А зал все гремел: «Ор-док! Ор-док!» Он преодолел-таки себя, остановил жестами и благодарными улыбками аплодисменты и скандирование зала и сказал в наступившей тишине:

— Кому-то тут стало обидно за Роберта Борка, так в чем дело? Собственно говоря, кто ему мешает. Пусть Борк появится и убедит публику в обратном, в том, что они с космическим Филофеем горят желанием принести пользу людям, народу, нации, будущим поколениям. Пусть даст мне достойную отповедь! Пожалуйста! Мы живем, слава Богу, в самом демократическом государстве. Да я думаю, Борк и не останется скромно в сторонке, а выступит. А если он вдруг опомнится, раздумает поддерживать Филофея, то, наверное, объяснится и, надеюсь, покается. В общем, пусть выступает, как хочет. Не к его ли услугам все американские газеты и журналы, да и только ли американские, пусть возгорается мыслью, а радио, а телевидение?! Но и я не останусь в стороне, могу заверить вас, уважаемые избиратели, и я попрошу себе скромного места в средствах массовой информации, но не с тем, чтобы поражать современников своими футурологическими теориями, я постараюсь, чтобы каждый человек понял, что играть с огнем, то есть с учением Филофея, не стоит, что Борк вместе с Филофеем готов запалить мировой пожар. С того часа, как я вник в замыслы Борка, я не могу оставаться спокойным — его замыслы темны и страшны, он готов насаждать идею поголовного зондаж-облучения женщин везде и всюду и требовать поголовного покаяния человечества за свои, что называется, грехи. И все это выльется в новую филофеевскую религию, чтобы оттеснить, стало быть, традиционные религии, чтобы монополюльно господствовать над людскими душами. Пусть и

религии мировые подумают, как им быть отныне! Вот о чем следует позаботиться наперед, вот о чем я буду писать и говорить. О том, что мы должны вовремя унять этих ученых мужей — Филофея на орбите и Борка на Земле. И я заявляю об этом для всех присутствующих здесь журналистов. Разумеется, унять законным путем, только так и никак не иначе! Путем установления мирового запрета на подобные эксперименты. И в этом я рассчитываю на вашу поддержку и доверие!

Последовал рев и гром аплодисментов, все встали и принялись неистово хлопать и снова скандировать: «Ор-док! Ор-док!» И опять с наслаждением и смущением упрасивал Оливер Ордок публику прекратить пока овации:

— Я займу у вас еще несколько минут. Я хотел бы еще добавить в развитие сказанного...

И вдруг трансляция из спортзала резко оборвалась. Экран погас. Кто-то нервным движением руки выключил телевизор. Это была Джесси. Когда она вернулась домой, как она вошла, где находилась все это время — сидела ли где-то сбоку и все это смотрела и не могла двинуться, парализованная увиденным, или только недавно пришла, — Борк не знал. Опустошенный, убитый случившимся у него на глазах, он сидел в кресле, отрешенно глядя куда-то в пространство.

— Сколько можно?! Как ты можешь смотреть это?! — резко и жестко сказала Джесси мужу. — Хватит! Довольно!

Тот молчал.

— И в кабинете не смей включать телевизор! — проговорила она раздраженно. — Я отключу сейчас все телефоны! Все к черту, к дьяволу, все начисто, чтобы никто, ни одна душа, никаких звонков! Сейчас кинутся звонить кому не лень, все, кто видел, что там устроил твой Оливер Ордок! Какой абсурд! Какая подлость!

Борк молчал.

— Ну, что ты молчишь?! — вскричала в отчаянии Джесси. — Подобного не было никогда в жизни!

— Тише, пожалуйста, — попросил Роберт Борк, — оттого, что ты будешь кричать, ничего не изменится.

— А оттого, что ты будешь молчать, тем более ничего не изменится!

И они оба замолчали, подавленные, взъерошенные. За окнами уже темнело. Уходил тот чудесный осенний день, что просился на живописное полотно, уходил в череду свою... Уходил, оставляя по себе боль и тревогу... Уходил в предвещии новых дней, неизвестно что несущих...

— Не могу, не могу поверить себе, — дрожащим голосом нарушила молчание Джесси. — Я допускала, что вокруг этой невероятной проблемы могут быть споры, но чтобы так подло и низко обойтись с тобой!.. Как можно из корысти так опозорить человека на весь свет?! Я готова убить этого мерзавца! И он может оказаться президентом Америки?! Где же небо?! — горько зарыдала Джесси.

Борк поднялся, налил воды, подал жене. Она пила, обливаясь, лихорадочно стуча зубами о край стакана.

— Успокойся, Джесси, теперь послушай меня, — проговорил он и хотел погладить жену по голове. Она уклонилаась:

— Не буду я, не буду никого слушать, и ничего не говори мне, ради Бога! — Ее душили слезы.

— Ну, извини. Позволь мне быть возле... Извини...

Жена плакала, сотрясаясь всем телом, согнувшись в кресле рыдающим комком боли. И седая-то оказалась она уже, и постаревшая вдруг, чему он прежде не придавал значения, и все это горько увиделось в ту страшную минуту.

И ходил Роберт Борк по комнате налево и направо, взад и вперед, как в тумане, как в неизвестной местности, а не в доме своем. И страшно было ему и остановиться и двигаться, чтобы не провалиться в какую-то пропасть, — столь оглушительным оказался неожиданный удар из-за угла.

Наблюдая иной раз по телевизору за боксерами на ринге, Борк задумывался, сопереживая неудачнику, над тем, что испытывает боксер, брошенный одним ударом в нокаут, что творится с ним в ту минуту, сбитым с ног, озирающимся вокруг так, будто он с иной планеты. Теперь он знал, как это бывает. Теперь он знал, что мир окружающий, оставаясь на месте, рушится в самом человеке, внутри него — в кровотоках, сбитых с путей своих, гудящих в голове, как стоки дождя по улице, в черном овраге мышления, размываемом этими бешеными потоками, в заикленности мыслей и в хаосе их.

Он долго ходил, долго и тяжело, а мысль, угнетенная бедой, металась в том черном овраге, в развалинах былого, что час назад было еще тем, чем он был сам для себя, своим «я», той тождественной себе данностью, которая определяла его личность. Теперь все это было разом опрокинуто, потоптано, выжжено Оливером Ордоком и массой людей, сбитых им с толку. Он физически ощущал свою вытоптанность и сожженность. Тело горело огнем. Такого прилюдного крушения в его жизни не бывало. И как-то сразу возник вопрос — что же дальше? Оставалось или покориться этой силе, демонстративно поправшей его «я» на глазах у всех, пустить себе пулю в лоб, не находя иного выхода из положения, — так думалось ему в тот час, — или собраться с силами навстречу схватке, веря в то, во что неизменно верится людям во все времена и особенно в моменты поражения — в конечное торжество справедливости, истины, правды, и еще есть много тому имен. Никогда не предполагал он, что настанет такой день и час, когда и ему придется сказать себе жестко и недвусмысленно: быть или не быть, жизнь или смерть! И еще одно горестное открытие сделал он в те минуты: для Джесси его трагедия — больше, чем личная, больше, чем трагедия мужа для верной жены. От этого на душе становилось еще тяжелее, и не было способа, не было такого слова, чтобы облегчить ее горе. Она слишком хорошо понимала суть происходящего.

— Роберт, — проговорила Джесси, всхлипывая.

— Да, Джесси, ты что-то хочешь сказать?

— Роберт, я вот сейчас думала... — начала она и замолкла. Он ждал. — Принеси, пожалуйста, мне полотенце из ванной.

Борк вернулся с полотенцем. Утирая им лицо, Джесси боролась с собой, подавляя приступы слез.

— Что ты хотела сказать, Джесси?

— Я думала, Роберт, о том, что то, что сегодня постигло тебя, да и Филофея, хотя он находится там, в космосе, — это из ряда трагедий идеализма. Я вспомнила твоего любимого Сократа. Как и тогда, и после, и многие времена спустя, идеалистической утопии противостоит толпа. Кто-то накидывает мешок на голову, и все наваливаются кучей.

— Быть может, и так, — отозвался он сдержанно.

— Так это, или не так, или примерно так, но ты же видел, Роберт, что это было. Я не говорю об Ордоке, его мы не разглядели, не стоило тебе с ним беседовать, он патологический тип, чтобы оказаться в президентском кресле — ради этого он пойдет на что угодно, на любую ложь, клевету и измышления. Я не о нем, будь он проклят. Но какая же страшная картина эти люди, заполонившие огромный спортзал! Это копыта, после которых на душе цветы не растут, а толь-ко чертополох

колючий, и удавиться хочется. К черту все это! О Роберт, эта толпа, это быдло! Что это было, какое дикое зрелище! Боже мой! — и она снова зарыдала, уткнувшись в полотенце.

— Успокойся, Джесси, перестань, очень прошу тебя, ты принимаешь это слишком близко к сердцу. Я тебя понимаю, но давай подумаем, посмотрим несколько отстраненно, — уговаривал он жену. И, уговаривая ее, вынужден был прибегать к логике, не поддаваться слепому гневу и несколько успокаивался сам. — Ты во многом права, безусловно. И то, что сократовская трагедия вневременная, тоже верно. Но вот подумай. Хорошо, допустим, это так. Массы — это стадность, стихия, или, как ты выразилась, копыта, но это и оплот общественной жизни. Никуда не денешься! Человеческий материал, на котором строится и держится жизнь. Существует одна парадоксальная особенность в устройении бытия, я бы сказал, в диалектике жизни — вечная трагедия: мыслитель открывает законы общества, а общество за это предаёт его анафеме, а впоследствии берет именно эти открытия на вооружение. Прозрение наступает через отрицание.

— Роберт, — с укоризной в голосе и взгляде перебила его жена. — Можешь размышлять как угодно, но не старайся мне внушить что-то насчет прозрения. Истопать, чтобы затем прозреть? Так, что ли? Нет, не могу смириться. И не до философствований сейчас нам с тобой. Наступает ночь. И тебе завтра утром предстоит сказать свое слово, если ты намерен это сделать. Решайся.

— Да, я намерен.

— Роберт, я понимаю, что это значит, за Ордоком — масса, за тобой — никого, кроме разве этого молодого человека, как его, который подбегал к микрофону. — Энтони Юнгер.

— Спасибо хотя бы ему. Но ясно, Роберт, тебе брошен прямой вызов, и ты не сможешь не принять его. Смотри, если ты уверен, если действительно истина за тобой и Филофеем, твое право — утверждать эту истину, свое понимание во всеуслышание, несмотря ни на что.

— Вот в этом ты абсолютно права, Джесси, только так — во всеуслышание. Я уже думал об этом. После статьи в «Трибюн» я постараюсь сразу дать пресс-конференцию. И дальше видно будет, как пойдут события. Большая часть статьи уже готова, она у меня в компьютере, но после того, что произошло на этом митинге, многое мне открылось, многое обозначилось по-новому, мне кажется, в подтверждение правоты Филофея. В статье предстоит кое-что доработать, дополнить, усилить. Так что я не собираюсь уходить со сцены, не сыграв своей роли. Филофей прав, и я буду стоять за него.

— Коли так, нельзя терять времени. Сам понимаешь. Мы должны сосредоточиться. Это — война. Я так считаю, Роберт. Настоящая война!

— Согласен. Но только это война за противника, за врага, за его конечную победу над собой. Я имею в виду аплодировавших в спортзале. Вот ведь в чем суть этой войны, Джесси.

— Понимаю. Но на душе от этого не легче. Не желаю, вернее, не умею я этого принять. Не могу себя вывернуть. Прости меня. Радеть за врага, спасать, условно говоря, своего убийцу? Опять христианские постулаты?

— Не спеши. Это касается не только христиан, а и всех без исключения. К сожалению, мало кто желает понять, что все беды проистекают оттого, что мы, люди, разумные существа, только и крутимся, чтобы избежать во что бы то ни стало, вопреки всему, ответственности за вечно искажаемую жизнь, и находим тому массу оправданий, не отличая добра от зла и не боясь этого нисколько, лишь бы выкрутиться. И убедить самих себя, что только так и можно жить и никак иначе. Разве не к этому свелся предвыборный митинг?! Ведь нет на Земле никакого иного носителя зла, кроме нас самих, людей. И однако каждый видит источник вреда в другом, вне себя, вне своей группы, сословия, нации, государства и далее — расы, религии, идеологии... И катится жизнь в злодеяния. Докатывается до протеста эмбрионов против жизни. Стоп! Дальше некуда! Дальше мутации и вырождение! Все это губительно, и чем дальше, тем больше, чем мы могущественней

технологически, тем страшнее наши заблуждения и степень цинизма и попрааний. Филофей затронул одну из струн расстроенного генетического оркестра, и сколько сразу неприятия и ярости!..

— Ой, Роберт, с меня довольно! — проговорила Джесси. — Ты лучше публично огласи эти мысли, чтобы люди услышали.

Они замолчали. И как ни старалась Джесси сдержаться, слезы опять начали душить ее:

— Прости меня, Роберт, не могу, не могу прийти в себя, я так оскорблена всем этим зрелищем, — говорила она плача. — На душе у меня такое после всего этого варварства толпы, как будто бы мы с тобой бредем в погорелом лесу, обугленном, сплошь выгоревшем. Уже все сгорело вокруг — ветви, стволы, кусты, и осталась только черная, опаленная земля, и вокруг ничего — пусто, все черно и мертво. Что будет? Что будет? Что-то будет! — шептала она.

Борку ничего не оставалось, как успокаивать жену. Не помнил он, чтобы случалась с ней такая истерика. Всегда собранная, всегда спешившая по разным делам и более рациональная, чем сам он, она была просто раздавлена цинизмом Ордока.

Но напоминание о том, что следует без промедления действовать, что время не терпит, заставило ее взять себя в руки.

— Я понимаю тебя, Роберт, — соглашалась она, перебарывая себя. — Иди в кабинет, работай. Заканчивай статью. Кофе, хочешь, — будет на кухне, хочешь, — буду приносить. Только работай. Только действуй. А я пойду в гостиную. Мне хочется играть. Буду играть Шостаковича. Пятую симфонию. А ты пиши. Я знаю, тебе есть что сказать. И не звони никуда, я тебя прошу. Телефоны я отключила, все три. Не включай. Иди. Меня ты снизу не будешь слышать. Я закрою дверь и окна.

Глава седьмая

Временами звуки музыки все же доносились из гостиной на второй этаж. Виолончель невольно напоминала Борку той ночью, что есть на свете женщина, разделяющая с ним судьбу, наверное, до самой могилы. А возможно, и потом их души будут знать друг о друге и слышать сегодняшнюю бессонную виолончель на расстоянии расстояний...

И в ту ночь, сидя перед компьютером, на монитор которого набегали электронные строки завтрашнего газетного текста, он снова услышал тревожное дыхание китов в океане. Куда они опять? Значит, где-то что-то произошло на Земле?! Опять люди совершают непоправимое? Волны валили навстречу гора за горой, бурлила вода, растрчивая и одновременно восполняя энергию океана, и плыли киты. Вскоре и сам он оказался среди них. Океан переливался во тьме мерцающим светом компьютерного экрана, заключавшего в себе в тот час и далекий космос, и зачатия в материнских лонах в едином континууме вечности, находящем свое выражение в слове его, и, плывя в океане, он пытался найти объяснение вечного в образе Мировой души, которая для всех одна и у каждого своя в разъединенности и соединенности всего на Земле... И набегали на экран строки, следуя одна за другой, слагаясь в единый текст:

«Тавро Кассандры не знак позора и унижения, в чем пытаются убедить нас иные ораторы, преследующие свои политиканские цели, это — знак беды, крохотный сигнал о великой нашей беде, неожиданной, прежде неведомой людям, необозримой в глобальных масштабах и потому требующей исключительного подхода как роковое для человечества социально-биологическое явление. Открытие Филофея свидетельствует о том, что наше самосознание деформировано на генетическом уровне, деформировано по вине самого человека, из поколения в поколение живущего вопреки идеалам Мировой души. Трагедия в том, что мы избегаем, всячески уклоняемся, как это было, в частности, продемонстрировано на предвыборном собрании, от осознания причин, побуждающих кассандро-эмбрионов к отказу от борьбы за существование. Угасание желания жить есть угасание мировой цивилизации. Это и будет концом света. Иначе говоря, конец света заключен в нас самих. Это-то и улавливают кассандро-эмбрионы, обладая инстинктивной чувствительностью, и дают нам

знать о своем страхе перед жизнью через пятно Кассандры, проявляющееся на челе беременных женщин, как на вселенском компьютерном экране. Следует бояться не самого тавра Кассандры, а причин, вызывающих в недрах генетики этот эсхатологический сдвиг... Мы совершим великую ошибку... Филофей не провокатор, он — космический пророк...» И слышал Борк в тот час, как шумно плывут киты в океане, всё с большим напором преодолевая встречные волны, и виделось ему, как светилась, горела тревогой вода на пути их — цветом компьютерного экрана...

* * *

А на Красной площади в ту полночную пору стрелки часов на знаменитой Спасской башне приближались к часу совы — к трем часам ночи. И сова ждала заветного момента, когда три раза пробьют кремлевские куранты на все четыре стороны света, с тем чтобы в ту минуту сняться с места и, круто падая вниз с башенной высоты, взмыть у самой брусчатки, застилающей площадь, и полететь затем вдоль Кремлевской стены и далее, как всегда, бесшумно покружить, попетлять над Красной площадью, покружить над мавзолеем и посмотреть вокруг — что к чему на белом свете. И в этот раз сова ожидала встречи с приземисто-башкастыми призраками, надеясь подслушать, как обычно, о чем они будут толковать между собой. А поговорить на этот раз им было о чем, ой как было! Потому что накануне на Красной площади произошло страшное событие. Такого даже много видевшая на долгом своем веку сова не помнила и не могла предположить, что подобное возможно.

Но, с другой стороны, откуда ей было знать, этой странной спасскобашенной сове, то ли птице, то ли духу, общавшейся с призраками, откуда ей было понять то, чему даже здравомыслящие люди не находили вразумительного объяснения.

А началось все пополудни того осеннего дня, когда на Красную площадь стали стекаться огромные толпы людей для проведения митинга в защиту ВПК — военно-промышленного комплекса. Давно уже накапливался, как писали журналисты, в определенных кругах ропот, что перестроенная конверсия встала костью в горле «оборонки», что только в реставрации ВПК спасение убывающего могущества державы. Да, такие мнения носились в воздухе гарью тлеющего в лесу пожара. И вот он запалился, возгорелся, чему немало поспособствовали пожинавшие теперь свой урожай возбудители национал-опаматствования, силы, упорно натаскивавшие общественное мнение на возобновление торговли оружием, на возрождение ВПК — основы милитаристской государственности, — якобы загубленного так называемой перестройкой и так называемыми радикал-демократами в интересах Запада, коварно потирающего руки за кулисами.

На Красной площади собирался отовсюду притекающий люд. Большинство направлявшихся на митинг были приезжие — из разных «закрытых» городов, прежде именуемых «почтовыми ящиками» и закодированных соответствующими номерами. Именно из этих рассекреченных в ходе конверсии «ящиков» валили коллективно прибывавшие на поездах на все вокзалы Москвы, они двигались к центру колоннами, перекрывая автомагистрали. К ним присоединялись и московские «оборонщики», национал-патриоты, тоскующие по Сталину пенсионеры и прочие, и прочие. Демонстранты казались странными типами из прошлого, словно только что опомнившимися от тяжелой контузии; они несли над головами воскресшие портреты кровавых диктаторов, совсем недавно еще яростно поносимых и проклинаемых на этих же улицах.

Число демонстрантов все росло, наглядно свидетельствуя о том, сколько же деятельного народа было занято прежде в сокровенных недрах ВПК. Полмира вооружали. А теперь почувствовали — земля уходит из-под ног — конверсия обрекала работавших в ВПК, если не перестроят производство, на безработицу. И они двинулись... Это напоминало половодье, когда бешеный поток на глазах несет и коряги, и валуны, и сорванные крыши, и никто не в силах остановить движения. Подобно этому несло по улицам в тот час свои «валуны, коряги и сорванные крыши» — призывы и требования, гласившие категорически: «Прекратить конверсию!», «Не дадим пустить ВПК по ветру!», «Да здравствует славный ВПК!», «Держава — превыше всего!», «Долой антигосударственные реформы!», «Танк — гарант стабильности», «Даешь валюту за оружие!», «Не мешайте конкурировать на мировом рынке оружия!», «Прекратить болтовню о гонке вооружения!» — и совсем абсурдные для непосвященных: «Вернуть почтовые ящики!», «Будем жить и трудиться в

почтовых ящиках!» и даже такие: «Заткнитесь, пацифисты, пока не поздно!», «У нас отняли «холодную войну», чтобы нас перебороть!», «Не дадим превратить танк в кастрюлю!» и, наконец, «Да здравствует производство вооружения — источник силы и национального богатства!», «Не допустим безработицы, не допустим утечки мозгов!», «Да здравствует «холодная война» — двигатель технического прогресса!», «Долой продажных гуманистов!» и еще многое и многое в этом духе, благо кусок картона с любой надписью ничего не стоил, но таил в себе силу, от которой голова, хмелея, шла кругом.

Хотели того или нет политики, распинавшиеся о необходимости военного превосходства державы и именовавшиеся державниками и государственниками, хотели того или нет соорганизаторы международных ярмарок оружия, где завоевание первенства на торгах приравнивалось к Божественному деянию в интересах нации и, самое главное — сулило миллиардные суммы долларов чистой прибыли, от чего перехватывало дыхание, ведь одну треть тех миллиардов всякий раз обещали отстегнуть непосредственно в карман производителей на местах, хотели того или нет те, кто начал в масс-медиа кампанию по прославлению не меркнувшей в истории славы нашего оружия, теперь уже никто из них не в силах был остановить того, что пробуди-лось, того, что происходило, — все были щепками в водовороте...

На Красной площади колыхалось море голов. Тысячи собравшихся и продолжавших прибывать участников митинга в защиту ВПК распирала пространство площади, и общий рев: «Ве-Пе-Ка!», «Ва-лю-та!», «Кремль — наш!», «Кремль — наш!» сотрясал небо.

Съемки велись с вертолетов, но и сверху невозможно было охватить и передать масштаб грандиозной вулканической картины. На фоне общего митинга, речей, разносившихся через радиоусилители с мавзолея, в разных концах площади возникали еще и локальные мини-митинги со своими лозунгами, портретами и выкриками. На Лобном месте тусовались фиде-листы, и это было сразу видно по портретам их кумира и лозунгам: «Фидель — мы с тобой!», «Социализм — или смерть!» И толпа вторила громко, взявшись за руки и в такт подскокам: «Социализм — или смерть!» В проходе возле Исторического музея колготились саддамисты. Исступленно и яро клокотал в этом омуте клик: «Саддам — ты наш брат!», «Сад-дам — ты наш брат!» И еще один очень выразительный выклик с выбросами вытянутых кулаков: «Кадда-када-Каддафи! Кадда-када-Каддафи!»

Подобных шумных сторонников имели на площади почти все страны, куда долгие годы шли массовые поставки оружия, свои приверженцы пританцовывали в честь Китая, Ирана, Пакистана, Индии, Северной Кореи и особенно арабских и африканских партнеров-покупателей. Но, понятное дело, Китай соответственно своим масштабам и демографическим данным — обладал громадным числом приверженцев, скандировавших гениальную строку поэта Мао из «Песни павлина»: «Винтовка рождает власть! Винтовка рождает власть!» И в унисон, очень по-родственному, мощно ладили сталинисты: «Сталину слава!» и дружно вздергивали над головами подобострастно отретушированные портреты генералиссимуса. Но над всем этим граем поистине торжествовал калашниковский автомат: «Калаш — Кремль наш!» — перекрывало все возгласы и крики.

Были и малопонятные изыски на заданную тему, типа: «Стрельба влёт — и небо в алмазах!» Надо ли это было понимать так: летит ракета, и сверху сыплются алмазы? Если бы! О, если бы!

И все это бурлило и кипело в котле массовой эйфории, и все это воспалило чувство поголовного могущества, натиска, единого плеча... Вот-вот и свершится нечто, и возликует огненная пиротехника страстей, и дрогнет небо, и явится Он: исполнитель воли... Но кто Он? Он, да и все! Он! Он!..

Но речи главных ораторов, раздававшиеся с трибуны мавзолея, были по-своему трезвы и убедительны. Свертывание производства оружия не сулит экономике ничего хорошего, лишь отдает мировой рынок в руки богатой-разбогатой Америки. Та не дремлет — штампует оружие круглый год, круглыми сутками и всех вооружает до зубов, и всеми повелевает. Чем мы хуже? И еще был один довод — безработица от конверсии приведет к сокрушительному социальному взрыву. И еще — конверсия губит на корню мощный интеллектуальный потенциал страны. И еще, и еще следовали

снайперские попадания в точку. И каждое попадание вызывало приступы массового наслаждения ненавистью.

Но была и другая сила. В тот час на Манежной площади, на смежном пространстве, отделенном от митингующей толпы противников конверсии лишь рядами омонцовцев, гудел другой митинг, вскипали другие страсти.

Здесь митинговала другая публика, другая часть общества — демократы, реформаторы, пацифисты и прочая поросль перестройки, в общем — свободолюбцы и либералы всех мастей и оттенков. Их тоже было много, площадь колыхалась от многолюдья, и у них были свои убеждения, свои призывы и лозунги, не менее радикальные и не менее ударные. Здесь тоже пестрели транспаранты и плакаты: «Долой привилегии ВПК!», «Мы не должны быть заложниками ВПК!», «ВПК — на руку милитаризму!», «ВПК — вампир бюджета!», «Долой сталинского монстра!» и так далее, и тому подобное, вплоть до «ВПК — конвейер смерти!», «ВПК — цепной пес парто-кратов!», «ВПК — кабала народа!»

Та же, собственно, картина, что и на Красной площади, только с обратным знаком.

Тут демонстранты тоже осеняли себя портретами своих кумиров и лидеров. Вздыхали их над головами, представляли их на обозрение людям и богам, если, конечно, придавали последним значение.

Для различных корреспондентов и репортеров, поспешавших с аппаратурой то на один, то на другой митинг, то на Красную, то на Манежную площадь, события предоставляли невиданное изобилие оперативного материала. Но и при этом матерые репортеры не могли не обратить внимания на два плаката, которые своей непохожестью на все остальные бросались в глаза. Высоко держа на древках свои плакаты, ходили двое молодых людей — парень и девушка, судя по виду, скорее всего студенты. Очевидцы потом рассказывали, что держались они в толпе, не отдаляясь слишком друг от друга, чтобы можно было перекликаться, следили друг за другом глазами, ни с кем особенно не вступали в споры и выглядели несколько отстраненными, как бы погруженными в себя. На плакате, который держал парень, было начертано черной краской: «Человек не должен рождаться на свет, чтобы производить оружие!», а у девушки написанные красным слова звучали совсем деструктивно: «Я сожгу себя, если Кремль возобновит гонку вооружений!»

Ходили они в толпе, как два заблудших в море челнока, кому-то бросались в глаза, кому-то нет, кто-то брал подобные декларации в толк, кому-то это что-то говорило, а кому-то почти ничего — и немудрено, поскольку всевозможные заявления, лозунги, протесты, предупреждения, радикальные, оглушительные речи и выступления сыпались на головы митингующих, как дождь, и на той и на другой стороне — и на Красной, и на Манежной площади.

Но так или иначе, то, чему суждено было случиться, случилось. Люди спохватываются обычно, когда уже поздно, в который раз убеждаясь, что в бурлящих толпах массовым психозом детонируются события, подчас поражающие как своей случайностью, так и роковой неизбежностью.

Солнце уже клонилось за Кремлевские стены, уже спускались на ревушие толпы безвинные ранние сумерки, а митинги на смежных площадях продолжали надрываться и бушевать, и речи, гремевшие из репродукторов, зажигательные и фанатичные, все больше воспаляли души и умы собравшихся и приближали кульминацию. И каждая сторона, на той и на другой площадях, взывала к справедливости, апеллировала к властям и народу, утверждала только свою правоту, только свою точку зрения, преподносила миру только свои аргументы и выводы и накаляла себя, и ярилась, испытывая неудержимую потребность излиться немедленно в действие, разрядить накопившуюся энергию. Страсти накалялись почти синхронно, в репродукторах звучали взаимные обвинения, угрозы и оскорбления, каждая сторона называла другую, ненавистную, — гнусным сборищем врагов отечества. И уже вспыхнула первая потасовка. Пробиваясь через ряды омонцовцев, «милитаристы» и «антимилитаристы» стали бить друг друга плакатами и портретами на древках. Женщины дико

визжали, мужики орали и матерились. В ход пошли кулаки и пинки. Как ни старались омовцы сдержат натиск, разогнать дерущихся — это только еще больше разъярило стороны. И началась, быстро взбурлила сплошная битва-драка, точно люди только этого и ждали и ради этого только и собрались. Очень пригодились обожаемые портреты и броские плакаты — ими били наотмашь по головам. Кровь, слезы и стоны, схватки сотен людей, мужчин и женщин, старых и молодых, хлынули на экраны всемирных телепередач, во всевозможных деталях и ракурсах, снимаемые сверху, с вертолетов, и со всех возможных наземных точек.

Вот тогда-то и оказались в гуще событий те двое — парень и девушка. И то, что они не пустили в ход свои плакаты, обернулось для них роковым образом. Красноплошадники-вепековцы били конверсистов, когда увидели вдруг, что тот парень упрямо держит над головой свой плакат и как бы тычет им в нос рассвирепевшим патриотам.

— Так ты что, сволочь, кому ты тычешь, кому дуришь голову?! — вскричал один из нападавших. — Это нам, значит, родиться не следовало? Ах ты, гад! — и парня начали бить, а плакат изорвали и истоптали. Именно в этот момент к нему на выручку прорвалась та девушка со своим столь шокирующим, столь вызывающим транспарантом, с клятвой покончить самосожжением, если Кремль возобновит гонку вооружений.

Как сказать, насколько оправдан был поступок этой девушки — отправиться на митинг с подобной угрозой? Что двигало ею? Почему она это сделала — по молодости ли, по глупости или, наоборот, убежденность и отчаянность подвигли ее на этот шаг? И наконец, почему она не выбросила в толчее этот злосчастный плакат, прежде чем пробиться к другу, избиваемому оборонщиками-вепековцами?! Но она кинулась к нему с этим плакатом в руках, крича:

— Что вы делаете? Не трогайте! Кто вам дал право? Не смейте! Прекратите!

Напрасно. Парня молотили человек пять. Ну отпустили бы, избив, пусть ушел бы в синяках. Однако кто мог знать, чем это кончится, эта стычка, что таит в себе сама себя не ведающая, обезумевшая толпа?!

Вепековцы встретили девушку разъяренной бранью:

— А ты, сука, мотай отсюда, а не то и тебе наложим!

И тут одна баба, безобразно орущая, попала в точку:

— Так ты шантажистка?! Сгореть решила?! Ой, смотрите, люди, держите меня, сгорит сейчас эта сука-шантажистка, и Кремль наш рухнет! Сейчас, на глазах! Дайте ей по морде, чтобы забыла дорогу домой!

На девушку накинулись, порвали ей куртку. По лицу ее потекла кровь.

— Не смейте! Изверги! — кричала она, с ужасом размазывая кровь по лицу.

Ее плакат тоже вмиг изорвали и истоптали.

— Ну а теперь как? Сгоришь? Или слабо? Думай, прежде чем писать всякую ахинею! Что же ты не горишь?

И все произошло мгновенно.

— А ты брось в меня спичку! — судорожно выкрикнула девушка, вызвав взрыв злобного хохота.

Тотчас кто-то выхватил коробок, чтобы чиркнуть.

— А у кого зажигалка? Ха-ха-ха! Ты лучше поднеси к ней зажигалку! — предложил еще кто-то.

— Стой! Не смей! — вскричал не своим голосом ее друг, вырываясь из рук избивавших его. Не поспел. Горящая спичка упала девушке на плечо, на ее синтетическую курточку, и она занялась огнем.

Все оцепенели, затем отпрянули и кинулись врассыпную.

А она, объятая пламенем, побежала прочь, оглашая округу жутким воплем. И всё смешалось на Красной площади, не меньше, чем в аду. Паника в толпе столь же страшна, как и кипение ее свирепых, разрушительных вождедений...

Молниеносно разнесшийся слух о том, что где-то рядом взорвалась брошенная кем-то бомба, или, кажется, кто-то заживо сжигает себя, или еще что-то ужасное, полыхнул по толпам митинговавших, и люди, забыв обо всем, поспешно побежали, давя друг друга, падая, крича, по улицам и переулкам, бросая под ноги сакральные портреты и пламенные призывы, будто в них и не было и не могло быть никакой необходимости. Люди бежали в безумии и страхе, бежали от себя.

Так зачем все это было, зачем бурлили и гремели у Кремля — никто не мог себе ответить. С той секунды, как вспыхнула огнем девушка, грозившая самосожжением — то ли из эпатажа, то ли в шутку, то ли всерьез, начался новый отсчет времени. То, как она бежала крича, сгорая на бегу, было видно всем, кто оказался вблизи. Она упала на землю. Ее догнал тот парень и вместе с ним несколько омовцев, бежавших следом. Они поспешно принялись сбивать куртками огонь с тела горевшей девушки. Но было уже поздно. Ее друг в отчаянии упал на колени, схватившись за голову. В эту минуту рядом на враз опустевшей площади опустился вертолет, должно быть, ведший до этого съемку для телевидения. Из-под оглушительно вращающегося винта, пригибаясь от ветра и заслоняясь от шума, выбежали люди, подняли с земли тело девушки и, прихватив с собой того парня и пару омовцев, все вместе поднялись в воздух. Но кто-то один успел, не забыл все снять на пленку.

Вертолет, взлетая, двигался над Красной площадью, поравнялся со Спасской башней на уровне ее макушки и полетел дальше, над Каменным мостом, потом вдоль набережной Москвы-реки и скрылся из виду...

Вместе с вертолетом затерялась в дебрях города, как в лесу исчезающая птица, трагедия молодых людей, скорее всего студентов, так отчаянно, так страшно и безоглядно пожертвовавших собой ради идеи, в которую они уверовали... О романтика, вечная спутница утопий и их неизбежных крушений!

В тот вечер центр города долго не утихал, переживал события дня. Нервное возбуждение выгнало многих на улицы, сказывалось в необычном оживлении лиц, голосов, походок. Люди собирались группами, спорили, гадали и все никак не могли объяснить, как могло случиться такое — брошена была всего лишь зажженная спичка, она могла погаснуть на лету, но вот не погасла, и девушка в одну секунду воспламенилась? Это же не фокус, не цирк?! Может быть, одежда ее была пропитана особым воспламеняющимся составом? Но к чему было устраивать такое — чтобы со смертельным исходом? А если нет, а если это совсем что-то другое, какое-то непостижимое метафизическое явление, когда человек загорается пламенем от высочайшего внутреннего напряжения? Говорят же, есть люди, которые ночью светятся фосфорическим светом. Как знать, кто знает?..

Тем временем надвигалась ночь. Людей на улицах становилось меньше. Зашевелились, хлопая дверцами автомашин и тут же оплачивая уличных охранников и рэкетиров, любители ночного времяпрепровождения. В ночных заведениях зажигались огни, интимные подсветки, включалась электромзыка, обнажались бюсты, разлетались улыбки... Чтобы все забыть, ничего не помнить, ускакать от себя, ускользнуть от Бога...

На Красной площади в ту ночь стояла абсолютная тишина. Безлюдье. Ни души. Никто не хотел появляться на том месте, где днем бушевали дикие страсти, безумие, побоище. Тускло мерцало освещение. И повсюду валялись, точно брошенные на поле брани, потоптанные демонстрантами в драках и бегстве портреты, лозунги, плакаты.

И никому до них не было дела.

Луна стояла высоко над Кремлем. И летала сова, появившаяся в свой заветный час. Она скользила, как тень, то тут, то там, бесшумно взмахивая широкими крыльями, неуловимо вращая на лету огромною головой с магнетически светящимися округло-пристальными глазами. Тягостно ей было и жутко. Тихо кружа над мавзолеем, мелькнув перед взором каменно застывших часовых в его дверях, сова полетела дальше в поисках приземисто-башкастых призраков. И нашла их в затемненной сторонке, под кирпичной Кремлевской стеной. Нет, и в этот раз они не явили ничего нового. Они были невыразительны и в этот раз, но словно околдованы. Взявшись за руки, башкасто-приземистые приплясывали на месте, монотонно приговаривая подхваченное из возгласов митинга: «Социализм — или смерть!» Да, так и твердили без устали, неслышно, незримо, ужасно: «Социализм — или смерть!»

Сове эта кубинская ритмика вскоре наскучила. Она полетела дальше и напротив Спасских ворот встретила, наконец, живую душу — пьяную бабу, невесть откуда забредшую.

Та шла по ночной Красной площади в полном одиночестве, растрепанная и расхристанная, пьяная, и пела протяжно какую-то свою горькую песню:

Ах зачем, ах зачем
Родилась я на свет?
Ах зачем, ах зачем
Меня мать родила?
Ах зачем, ах зачем,
Ты меня зачала?
Не хотела того,
Ты меня подвела.
Ах зачем, ах зачем
Ты меня родила?
Не хотела того,
Ты меня подвела.
Ах зачем, ах зачем
Родилась я на свет?
Ах зачем, ах зачем
Меня мать родила?..

Уходила наискось через площадь, шатаясь, спотыкаясь, и вскоре скрылась где-то у торговых рядов ГУМа. Еще некоторое время доносилась ее унылая песня, потом все стихло.

Сова ж взмыла над Кремлевскими стенами, полетела в сады и здесь, среди густых ветвей, вдруг зарыдала, как та баба, и, рыдая, тягостно ухала.

Луна стояла высоко среди звезд, подсвечивая сверху вечным светом купола, шпили, крыши Кремлевского взгорья, и опять чудилось сове, что доносится издалека дыхание китов, плывущих в океане. Куда и зачем они спешат? И нет им покоя. И волны не унимаются.

Глава восьмая

Большая часть статьи для «Трибюн» была готова, оставалось написать заключение. Но чем ближе дело двигалось к завершению, тем сильнее охватывало Борка беспокойство: не излишне ли он погрузился в научное объяснение феномена тавра Кассандры, тогда как для подавляющего, а может

быть, и абсолютного, большинства людей наверняка важнее всего было любым путем избавиться от «провокационных» действий Филофея в космосе, чтобы только ничего не видеть, ничего не слышать, забыть о сигналах кассандро-эмбрионов. Прожженный политикан Оливер Ордок почувал именно это и соответственно сориентировался, и потому обрел успех. Безусловно, он одержал политическую победу. Хотя, конечно же, победу на ложном пути. Но как переубедить людей, как заставить людей понять, что они поддались массовому самообману?

Борк понимал, что политического опыта, политической сноровки в сравнении с Ордоком ему недостает. Да, они стали врагами. Так неожиданно и так неотвратно! И, хотел он, Борк, того или нет, предстояла борьба, неизбежная борьба. Как раз то, что требовалось Ордоку, — публичный турнир на пути к вожделенному президентству. В этом смысле судьба щедро и выгодно предоставила ему Филофея в космосе, Борка — на Земле.

Размышляя над этим, Роберт Борк поймал себя на мысли, как быстро можно втянуться в банальную политическую борьбу, как заразительно и цепко захватывала душу сжигающая страсть противостояния. Хотелось встретиться с Ордоком лицом к лицу. Хотелось подойти вплотную, взглядеться в его глаза и сказать, не повышая голоса, так, чтоб того пронзило насквозь: «Какая же ты сволочь!» И затем объявить всем, что Ордок сволочь и что такого типа нельзя допускать к власти, ибо это будет приход дьявола, и опасность в том, что никто не будет знать, что он — дьявол! «Нет, нет, только не это, только не это, — думал Борк, сам же отвращаясь от своих мыслей. — Пусть будет президентом, кем угодно, только без меня! Нет, нет, мое дело — не политическая борьба, моя задача — доказать людям, что, избегая правды о знаках Кассандры, они малодушничают, загоняют проблему вглубь, усугубляют свою беду. Но как, как убедить их, что правда страшна, но нельзя закрывать глаза, нужно искать выход?!»

На балконе, куда Борк вышел подышать, было по-ночному прохладно, осень давала о себе знать, — листва неумолчно шелестела во тьме, его охватила дрожь. Луна стояла низко, почти касаясь лесистого пригорка на выезде на автобан. Борк представил себе гольфовые поля на холмах за лесом, напоминавших пологостью и перекатами приморские дюны, сюда, бывало, в прежние годы он отправлялся погонять мяч.

И, странное дело, припомнился ему один сон. Оказывается, сны могут возвращаться в воспоминаниях как некая реальность. Снилось ему как-то, кажется, не так уж давно, что кругом гольфовые поля, луна светит, ночь, отрадно и вольно, но вот беда — мяч в лунке не поддается удару клюшки, не отлетает, не откатывается; сколько он ни размахивался, ни ударял, сколько ни старался, мяч оставался на месте. И тут появляется откуда-то сверху Макс Фрайд, коллега его покойный по кафедре, профессор. Полетим, говорит он, на Луну, там такие поля, будем играть в лунный гольф. Увлеченный Максом, он следует за ним, летит над полями, а позади Джесси бежит и зовет его назад. И плачет почему-то. К чему все это снилось? Странно и не очень странно, если поразмыслить. Макс был близким другом и всякой заумью, астрологией увлекался. По звездам старался определить, с каким счетом выиграет или проиграет в гольф. Предсказания его иногда сбывались, но большей частью служили поводом поиздеваться над «магом». Может быть, дух Макса на том свете что-то предчувствовал, улавливал приближение, как он мог выразиться и непременно так бы и сказал, — негативного астрологического фактора и потому желал увести друга из-под удара, звал улететь на Луну. Потому и явился во сне, предупреждая заранее.

Да, будь Макс жив, он наверняка бы примчался прямо среди ночи к ним в Ньюбери после того, что произошла на митинге. Пусть ничего бы это не дало, но такой он был человек, несколько суматошный, но исключительно отзывчивый. Бывало, аккомпанировал Джесси на рояле, несложные вещи, но очень недурно. Джесси посмеивалась: «У тебя, Боб, все друзья, как Макс, — потешные интеллигенты в классическом варианте. А вообще-то вам следовало бы основать монашеское братство, тебе стать главой ордена, эдаким догматичным наставником, а красавчик Макс твоей правой рукой был бы, везде бы попевал. Вот тогда бы вы реализовались не только в науках, а и еще в чем-то, в чем-то совсем ином». Бедный Макс, ведь он был равнодушен к Джесси и временами превращал это в предмет своего дурацкого балагурства. Он любил под хмельком излить душу:

«Слушай, Роберт, должен тебе сказать со всей прямоотой, ты крепко помешал мне в жизни».

«Что так?»

«Если бы не ты, я признался бы Джесси в любви».

«Но, наверное, и сейчас не поздно?»

«Нет, только если бы тебя вообще не существовало как субъекта, только в таком случае я сказал бы ей об этом».

«Ну, слушай, тогда с этим ничего не попишешь. Как субъект я как раз существую».

«Вот именно. Теперь ты понимаешь, как ты крепко помешал мне».

«Макс, дружище, уж очень легкой жизни ты хотел бы. Ты попробуй свои шансы при этом самом субъекте, а в комфортных условиях, как ты желаешь, это неинтересно».

«Нет, на твоём фоне я не смотрюсь. Совсем».

«Ну отчего же. Женщины тебя обожают — ты видный, можно сказать, красавец, когда-то ты гонял на мотоцикле, и все ахали. Потом ты помоложе меня».

«Я — мотоциклист, а ты — учёный, имеющий мировую известность, я — мотоциклист, а ты — богатый человек, получаешь большие гонорары за книги, у тебя прекрасный дом в фешенебельном Ньюбери, жена на виолончели исполняет тебе Бахов и Бетховенов, а я мчусь на мотоцикле, ты гоняешь мяч на модном Ньюбери-гольфе, а я мчусь на мотоцикле; ты выступаешь в кремлях и белых домах, а я мчусь на мотоцикле...»

«Постой, постой, Макс, не прибедряйся слишком. Ты отнюдь не только мотоциклист, да это и в прошлом. У тебя громкое имя в твоей науке — в политгеографии, вся планета в твоих руках. Да разве дело в планете, подумаешь, планета! Ты поосторожней, услышит вдруг наш разговор Анна, лучшая из прекрасных полячек, каким ты предстанешь мужем?! Скандал! И мотоцикл не поможет! А она-то в иллюзиях!»

«Да, Роберт, ты, кажется, подловил меня. Насчет Анны ты прав. А вот по поводу планеты — не совсем. В политгеографии надо знать все, или — ею не заниматься. Это особая, всеядная наука. Это банк информации, я бы сказал. Да, в этом смысле я — мировой банкир. Ротшильд двадцатого века. Я все знаю, все ведаю, ну и что? Говорят, Бог в небесах тоже все видит, все знает, все ведаёт, но ничего не может...»

Не стало человека. Погиб в автокатастрофе, уж очень любил скоростную езду. Анна постарела сильно. Сын их женился, живет отдельно. Джесси с Анной перезваниваются, иногда видятся. В последний раз Анна приезжала этим летом. Отправились они все вместе на гольф-поля подышать, погулять, посмотреть, как играют. Хороший день провели, обедали там же, в ресторане гольф-клуба. И невольно вспоминали о прошлых временах, о Максе много говорили... Он очень любил здешние места. Всегда готов был примчаться...

О бедный друг Макс Фрайд. Что бы ты сказал сейчас, как бы ты отнесся ко всему, что происходит, когда все смешалось в умах и в душах. Незримый генетический ураган ударил, закружил. Теперь нужно выбирать: в страусиной позе спрятать голову в песок, как хотят многие, лишь бы пронесло, или глянуть Богу в глаза и, не отводя взгляда, принять его предупреждение людям, ибо Бог только предупреждает, а решать надо самим. Прав был в этом Макс Фрайд. И снился он не случайно.

Тревожился, предчувствовал, стало быть. Звал, хотел спасти заранее от беды, звал на лунные гольф-поля...

Но как теперь сложится ситуация, ведь Ордок, по сути дела, подменил проблему, обвел общество вокруг пальца, отвлек, а чтобы к тому же обрести героический ореол, прилюдно вызвал его, Борка, на политическую дуэль. И он должен изготавиться, принять этот вызов, сказать свое слово о тавре Кассандры, защитить Филофея от демагогии и политических спекуляций. А как иначе назвать то, что устроил Ордок?! Боже, уже второй час ночи, опомнился Борк, надо садиться за работу. И действовать без промедлений. Отступить некуда.

Возвращаясь в кабинет, задержался взглядом на зеркале у входа. Глаза красные от бессонницы. Сколькo в них боли и тревоги. И седой совсем. Хорошо еще, не облысел, как другие. Старый, как та рейнская скала, мимо которой он проплывал недавно с немцами, шумными журналистами, они так и озаглавили его интервью — «Интервью со Старой скалой», совсем не подозревая, что совсем скоро, когда он будет лететь над океаном, над Атлантикой, сверкнет молния монаха Филофея и разразится гроза, и кинет всех во вселенскую панику, и появится под шумок на сцене этот бесовский тип — Оливер Ордок. Что же, выходит, предстоит биться...

Борк сел было к компьютеру, но послышались шаги. Снизу поднималась Джесси.

— Ну, как ты тут? — спросила она с порога.

— Да ничего, действую, — ответил он и хотел было рассказать ей о своем сне, вдруг припомнившемся с чего-то, но не стал.

Джесси выглядела усталой, и все-таки что-то светилось в ее взоре.

— Я не хотела тебе мешать, Боб, но знаешь, я хочу тебя удивить.

— Чем ты можешь меня удивить?

— Вот принесла кипу бумаг. Они тебе могут пригодиться.

— Что это?

— Факсы. И от кого ты думаешь? От Энтони Юнгера.

— От Энтони Юнгера? — переспросил он. — А что он? Что он, собственно, пишет?

— Понимаешь, я ведь тебе сказала, что отключу все телефоны. Можно представить, как он пытался дозвониться. Но кто мог знать? А факс в холле я забыла отключить, в голову не приходило. А тут слышу, что-то все время щелкает, гляжу — а тут уже куча рулонов. Вот почитай. На каждой странице он пишет сверху: «Ради Бога, только не отключайте факс!» И сейчас его факсы еще идут, страница за страницей. Что с ним происходит? Бедный парень. Ты почитай, я потом еще принесу.

Полная неожиданность. Два часа ночи. А кто-то не спит, пишет страницу за страницей, посылая факсы. Пишет Энтони Юнгер, лишь однажды говоривший с ним по телефону, едва знакомый. Но ведь на предвыборном митинге, когда Юнгер отважился, пусть и безуспешно, осадить Ордока на бешеном скаку его демагогии, он сделал принципиальный выбор, он, человек из команды Ордока, на глазах у всех отмежевался от своего лидера, перешел на сторону его политической жертвы. Каково ему пришлось потом, по окончании митинга, нетрудно себе представить. Сам Ордок и верная ему команда, безусловно, заклеямили Юнгера как предателя. О карьере под сенью Ордока отныне ему нечего было и думать. Приятели, наверное, смеются: такого еще не бывало — сам себе путь отрезал. И после всего этого он еще нашел в себе силы кинуться на выручку, на помощь человеку, посрамленному Ордоком, заклеяемому массовым митингом. Борку было неловко перед Энтони

Юнгером, и в то же время на душе потеплело. Никогда еще никто со стороны не опекал его из сострадания, поскольку он всегда был самостоятелен и силен. А теперь, насильно затащенный на ринг, он уполз оттуда, поверженный, можно сказать, измордованный на потеху публике и пока закрылся от мира, пытаясь, стиснув зубы, встать на ноги, чтобы снова вступить в бой, теперь уже по своей воле и на свой страх и риск. Оттого-то, понимая все это, Юнгер буквально заклинал в первой строке каждой страницы: «Ради Бога, только не отключайте факс!»

«Мистер Борк, я понимаю, почему отключены Ваши домашние телефоны, — писал Юнгер. — Никогда не посмел бы досаждать, но поймите и меня. Если я не смогу сейчас хотя бы по факсу изложить то, что я обязан был бы сказать Вам, стоя перед Вами на коленях, для меня это действительно смерти подобно. После всего, что случилось на предвыборном митинге, я не нахожу себе места, я готов на все, даже на убийство, если бы это имело смысл. Простите меня за столь страшные признания. Но получается, что это я втянул Вас в эту безобразную историю с Ордоком, подставил Вас в качестве базарной мишени для демонстрации меткости этого безнравственного политического стрелка с большой популистской дороги. Не буду плакаться, извините, однако кусаю локти: кому я служил, кому камни таскал, поделом мне за слепоту мою и неисправимую доверчивость! Но не обо мне сейчас речь, простите, ради Бога. Речь о том, как быть дальше. Как быть с тавром Кассандры?! Хочу...»

На этом страница обрывалась, и следующая начиналась с того же заклинания: «Ради Бога, только не отключайте факс!»

«Так вот, мистер Борк, как быть дальше?»

Позвольте мне, несмотря на мою идиотскую роль в этом деле, высказать кое-какие соображения. Возможно, они окажутся полезными.

Мистер Борк, тяжело говорить, но скажу. Заранее каюсь, что осмеливаюсь предлагать Вам такое. Но мне терять нечего. Я уже перед Вами виновен настолько, что теперь мне все нипочем.

Я имею в виду, что Ордока можно обвинить, коли на то пошло, во лжи, поскольку он ссылаясь на личную с Вами беседу. Никаких свидетелей этой беседы не было и не могло быть. Вы с ним говорили по телефону. А возможно, и не говорили, а если говорили, то о чем-то другом. Это ход в его же, Ордока, стиле. Позором на позор. Разговор не записывался. Это я точно знаю. Ручаюсь. Решайте сами. Если сочтете такой ход возможным, я берусь организовать сенсационное опровержение. Масс-медиа схватят наживку с ходу.

Но есть, конечно, и совсем иной путь борьбы. Если Вы, мистер Борк, убеждены в правоте Филофея и готовы ради истины стоять на своем, я, в свою очередь, готов идти с Вами до конца, хотя моя роль здесь, разумеется, чисто вспомогательная. Я смог бы быть Вашим оруженосцем. А то, что Вам предстоит битва, если Вы решите не уклоняться, — это безусловно.

Положение складывается так, что в данный момент Вы один в поле воин, единственный, возможно, на всей планете человек, открыто принявший сторону космического монаха, защищающий его эсхатологическую концепцию. После того, что произошло на предвыборном митинге, после «единого народного фронта», сплоченно поддержавшего Ордока, те немногие, кто, возможно, и имеет что сказать в защиту открытия Филофея, воздержатся, смолчат. А основная масса...»

«Ради Бога, только не отключайте факс!!!»

Так вот, мистер Борк, судя по реакции избирателей на митинге, основная масса населения, можно даже утверждать, к сожалению, что, вероятно, практически все население страны настроено против космических экспериментов по выявлению тавра Кассандры. Люди не хотят слышать, не хотят знать о кассандро-эмбрионах, женщины не желают быть контролируемыми зондаж-лучами. О событиях на митинге в «Альфа-Бейсбол» передали все информационные агентства. При этом рейтинг Ордока

резко подскочил во всех штатах. Сейчас он по горячим следам сделал заявление, что будет неуклонно стоять на защите прав человека, неукоснительно охранять извечную святость женщины-матери и бороться с провокационными происками, как он выразился, филофейцев всех мастей, где бы они ни были — на Земле или в космосе. Вашу фотографию, мистер Борк, в эти часы постоянно демонстрируют на телеэкранах, сопровождая соответствующими комментариями. В Москве обнаружены фотографии Филофея, и они тоже пошли в ход.

Я пишу об этом, предполагая, что Вы не только отключили телефоны, но и выключили ТВ. Вы должны иметь представление о последствиях митинга, о том, как развиваются дальнейшие события. Боюсь, что этот процесс будет набирать силу, и он не подконтролен...»

«Ради Бога, только не отключайте факс!!!

Так вот, мистер Борк, этот процесс не подконтролен, и потому Вы должны, мне думается, прежде всего решить для себя — какую позицию, какой путь действий Вы выберете в этих обстоятельствах. Ведь не исключено, что начнутся массовые протесты против того, чему уже дано название, — против «контролирования генофонда». Если вы готовите свою статью для «Трибюн», то продумайте, следует ли Вам появляться в редакции или лучше направить им материал факсом, телексом или через кого-то, потому что у входа в редакцию, как мне передали, уже толпятся пикетчики с плакатами, выкрикивая свои требования и угрозы. Они объявили, что будут вести круглосуточную осаду здания газеты. Полиция в таких случаях не всегда способна сдерживать накаленную толпу. Извините, информация более чем неприятная.

И опять повторяю: Вы один в поле воин. Филофей — в космосе, он не доступен противникам, но и лишен возможности активно взаимодействовать с союзниками. Решайте, какой путь Вы выбираете.

Вы поняли и поддержали то, чего не понимают или не хотят понимать из сиюминутных соображений другие, кому плевать на будущее, как и подобает временно проживающим на этом свете. Вы один, и это миссия одного. Почему так устроено, что великое свершение — чаще всего миссия одного, не знаю. В любом случае я с Вами, я готов Вам содействовать, готов делать все, что в моих силах, и не потому только, что, как я уже писал, чувствую себя виноватым перед Вами, так как это я подал Ордоку мысль побеседовать об открытии Филофея именно с Вами, а потому, главным образом, что я сам заразился идеями Филофея, его и Вашей озабоченностью будущим человечества. Возможно, до сих пор человек плутал, а теперь настало время сказать себе — или стань лучше, или готовься последовать в палеонтологические пласты, как вымершие мамонты.

Извините, опять конец листа!»

«Ради Бога, только не отключайте факс. Я еще не все сказал... Мистер Борк, простите, буду ближе к делу. На мой взгляд, завтрашний — нет, он уже наступил, уже сегодняшней — день многое выявит. Уже начался шабаш сенсаций и слухов. Единственное, что может оказаться диссонансом в этой буре, — это Ваше выступление, Ваше виденье, Ваша убежденность и аргументированность суждений. Как Вы решили действовать? Будете ли устраивать пресс-конференцию? Если да, то я готов принять участие в организации, быть у Вас на подхвате.

Далее. К Вам в Ньюбери непременно понаедут с утра и, очень возможно, без предупреждения репортеры. Если Вы не хотите с ними встречаться, не забудьте вывесить где-нибудь на видном месте объявление, что Вы не желаете ни с кем видаться и просите не тревожить Вас.

Я бывал в Ньюбери, на гольф-полях, в пригородных парках. От нас, от Ридинга, где я живу, минут тридцать езды. Если пожелаете, я могу приехать, чтобы обсудить с Вами дела. Сообщаю Вам свои координаты на этот случай.

Мистер Борк, уже четвертый час ночи. А я все пишу и пишу в надежде, что мои факсы будут Вами прочитаны, когда Вы их обнаружите. Мне столько хотелось бы Вам сказать! Ведь события в мире,

даже те, о которых повседневно сообщает пресса, свидетельствуют о кризисе цивилизации. В этих условиях само появление новорожденного на свет напоминает выход на минное поле. Но где оно, это минное поле, в каких пределах жизни кроется: в помыслах ли, в действиях людей, в учениях мировых или в практике дня, — указать перстом невозможно.

Вот только что показали по телевидению: в Москве на Красной площади — я так любил там бывать — произошло страшное. Столкнулись два лагеря демонстрантов: сторонников военно-промышленного комплекса и ратующих за конверсию. В результате одна девушка покончила с собой, сгорела у всех на глазах. Невозможно смотреть на эти сцены. Комментаторы сообщают, что взрыв страстей был вызван плакатом, с которым явился на митинг один студент, друг этой девушки, сгоревшей. На том плакате... Я сейчас продолжу... кончается лист».

«Ради Бога не отключайте факс, я должен рассказать о том, что произошло на Красной площади...

Мистер Борк, дело в том, что надпись на этом плакате гласила: «Человек не должен рождаться на свет, чтобы производить оружие!» И естественно, такое заявление было встречено бурей негодования именно тех, кого в России называют «оборонщиками», тех, кто оказался задействован государством и обществом, короче говоря, судьбой в военной промышленности, производящей средства уничтожения людей — от свинцовой пули-горошины (таких пулек «оборонщики» гарантируют сотню на каждого человека в мире) до сверхзвуковых самолетов, атомных подлодок, денно и ночно дежурящих в океанских глубинах, будучи готовыми по первому приказу к пуску межконтинентальных ракет. Это деньги и труд, выброшенные на ветер, — так считал и тот здравомыслящий студент. Наш американский ВПК заслуживает такого же отношения. Он тоже кует средства уничтожения себе подобных, тоже оправдывая это оборонными интересами.

Но, с другой стороны, и эти «себе подобные», которых следует по подобной логике убивать, для чего и изготавливается все необходимое оружие, тоже не ангелы, тоже вооружены до зубов и тоже жаждут убивать во имя своей сверхценной идеи (теперь самые действенные кличи — националистические), во имя справедливости и — не в последнюю очередь — во имя своих экономических интересов.

Круг замыкается. Впрочем, он никогда и не размыкался, и никогда не было выхода из него. И как было не вскричать от этого студенту, как было не написать на плакате собственной рукой то, о чем люди думали, быть может, с тех пор, как обрели речь, о чем порывалась душа человеческая сказать во всеуслышание на протяжении всех времен торжества войны и оружия над разумом. Создав водородную бомбу, Сахаров в России понял именно это — и остановился, и пошел наперекор судьбе.

Оружия на Земле становится все больше и больше, все и всюду хотят быть вооруженными. И не о том ли сигналит тавро Кассандры на лицах забеременевших женщин, не об этом ли беззвучно вопиют в чревах кассандро-эмбрионы, если на каждого рождающегося в мире человека припасено как минимум по сотне разрывных пуль и если он заранее обречен убивать или быть убитым?! Как же не сказать об этом было тому студенту?! И несчастная девушка, спалившая себя на Красной площади, уж не проснулось ли в ней то, что было не услышано и заглушено в ней в зародыше, отмеченном кассандровым комплексом?! Но кому было дело до ее эсхатологических тревог?

И возникает мысль, пусть идеалистически нелепая: что было бы, если бы человечество развивалось, не изобретая оружия и не зная войн? Был бы человек тем существом, которым он является сейчас, была бы наша цивилизация такой, какова она сейчас, или нечто совершенно иное царило бы на Земле, и человек был бы качественно иным? Разве такой путь развития был изначально исключен? А если да, то по какой неизбежной причине, тем более если разум дан человеку свыше, если разум — явление надбиологическое?!

Вот Филофей, удалившись в космос, приоткрыл слегка мировую завесу, но тут же стало ясно, что люди знать не хотят о тайном проклятии.

Мистер Борк, если открытия Филофея не вызовут ничего, кроме протеста, я все равно буду в них верить. В них я нахожу объяснение апокалиптических терзаний духа, усугубляемых повсюду бесконечным нравственным развалом душ.

К чему нас создал Бог, так думается поневоле, когда узнаешь, что в Карабахе, на войне, преступно ведущейся многие годы между армянами и азербайджанцами, так называемые полевые командиры торгуют телами убитых. Родные и близкие должны выкупать павшего в бою, чтобы предать его земле. И это превратилось в бизнес! Есть случаи, когда пристреливают своего же солдата в спину, чтобы заработать на его трупе. Когда я прочитал об этом в газете, мне стало дурно. Разве могут подобные злодеяния не сказываться на душе и плоти людей, не изменять постепенно наследственные структуры, не отражаться на потомках?!

Вот еще пример невообразимой жестокости. В одном турецком городе был подожжен отель, где проходила конференция литераторов в поддержку Салмана Рушди. Там заживо сгорели не только участники конференции, но и обычные постояльцы. Все это сняли телерепортсры: здание в бушующем огне, заживо горящих людей, пожарных, пытающихся что-то сделать, а рядом — ликующую на площади огромную толпу фундаменталистской молодежи. Она славит устроителей пожара, она прыгает, танцует, воздевает кулаки, ликует, получает от этого страшного зрелища прямо-таки эротическое наслаждение. Возбужденные, мстительные лики молодых людей освещены смертным плясом пламени. И идет телесъемка. Но ведь это не игровое кино!

Где мы, что с нами? Не об этом ли мы должны спросить с себя и по поводу заживо сожженных турецких семей в Германии?.. Вы, наверное, читали в газетах?

Список подобных злодеяний можно продолжать и продолжать, и одно будет стоять другого, при этом ясно видна неуклонная тенденция: злодеяния в самых разных странах становятся все чудовищней. Филофей доказал, что все это накапливается, сказываясь на генах.

Прежде я верил в разум как высшую функцию Вселенной, но разум оказался вечным заложником Зла. И станет ли он когда-либо свободным? Разве тавро Кассандры не вопиет именно об этом, не взывает к нам?!

Простите, мистер Борк, надо срочно сменить закладку в факсе...»

«Мистер Борк, ради Бога не гневайтесь, мои рассуждения слишком длинны и, боюсь, не столь Вам интересны. Но сегодня ночью отворились затворы моей души. Я понимаю, что происходит с Вами. И я опасаясь за Вас и рассчитываю на Ваше мужество.

Думая над создавшейся ситуацией, я прихожу к выводу, что Филофей, находясь на орбите, не может оставаться в стороне от того, что происходит на Земле. Если Вы не против, следовало бы найти способ в срочном порядке связаться с ним; технически это чрезвычайно сложно, но я попытался бы сделать это через своих друзей в телекомпаниях и космических институтах. Как Вы относитесь к этому? Если Вы согласны, дайте мне знать, и я сообщу Вам, насколько реальна подобная попытка.

И наконец, самое, с моей точки зрения, главное. Зачем нужна связь с Филофеем, ведь не для того же, чтобы только увидеть его на экране и поприветствовать?! Мне представляется, что он должен ответить, и я не сомневаюсь, что такой ответ у него имеется, — каким путем он выявил тавро Кассандры и каковы доказательства того, что эта мета есть выражение негативного отношения эмбриона к будущей жизни, а не что-либо другое. Из его послания папе римскому это не совсем ясно. Наверное, и Вы обратили внимание на определенную в этом смысле недосказанность. Думаю, что и другие, особенно ученые-биологи, могут поставить перед ним этот вопрос. Так вот, мне представляется важным, чтобы Филофей объяснил то, что осталось неясным, ответил на вопросы.

Предоставьте мне возможность организовать связь с Филофеем. Вы же, не мне Вас учить, срочно готовьте необходимую философскую аргументацию.

Нам придется столкнуться с последствиями того, что учинил в умах улицы Оливер Ордок. Но такова судьба. И мы должны победить. Ради той же улицы!

Ваш Энтони Юнгер.

P.S. Если потребуются мои координаты — номера домашнего факса, телефона, адрес, — они на этих листах. Служебные — не нужны, там я больше не появлюсь...»

Глава девятая

Было уже полпятого утра. Роберт Борк молча сидел над лежащими на письменном столе факсами. Джесси тоже была здесь, она тоже прочла их.

— Боже мой, что творится, что творится! — повторяла она уже в который раз.

— Ты бы прилегла, — посоветовал ей муж.

— Если ты хочешь остаться один, я сейчас уйду. Но вряд ли я засну. Мне не по себе. Я понимала — все это очень серьезно, но не представляла себе, что все в такой степени осложнится. Не знаю, что и сказать.

— Да, Джесси. Энтони Юнгер прав. Абсолютно прав, — задумчиво отозвался Борк. — Он послан нам самой судьбой. И его подход — это уже подход нового поколения. Иное мировосприятие. И умение действовать. Сразу чувствуется. Сам бы я, кроме статьи — а она получилась огромная, не знаю, на целую полосу, — сам я вряд ли стал бы что-нибудь еще предпринимать. Мы с тобой наглухо закрылись в доме. Но полностью изолироваться от происходящего невозможно. То, что Ордок спровоцировал...

— Лучше сказать — с цепи спустил!

— Да, с цепи спустил. Эта сила, которую он с цепи спустил, — страшная сила. И Ордок сознательно натравливает массы на Филофея и на меня.

— А ты уверен, что один сможешь переубедить стольких, уже настроенных против?

— Я не отступлю. Буду доказывать. Но как обернется, трудно сказать. Открытие феномена кассандро-эмбриона наносит сокрушительный удар по устоявшимся представлениям, по существующему образу жизни, по сложившемуся стереотипу мышления. Признать эсхатологическую реакцию кассандро-эмбрионов значит подвергнуть сомнению все от и до, и прежде всего политические, социальные устройства, моральные устои. Ясно, что такая ломка всех стереотипов не устраивает никого, начиная от зачавшей женщины и кончая таким типом, как Ордок. Оттого и сопротивление, переходящее в агрессию.

— Но ведь они видят агрессора в самом Филофее!

— Да, они видят в нем агрессора. Для меня он пророк, для других — сатана. Возникла дилемма: или мы будем жить по-прежнему, в обстановке всеобщего самообмана, жить так, как жили всегда, или сумеем, осмыслив причины увеличения количества кассандро-эмбрионов, предупредить неизбежный апокалиптический обвал. Вот какой выбор стоит перед человечеством.

— Филофей сам пишет, что его открытие столь же неожиданное для людей, как если бы на небе появилось второе солнце. Но ведь это второе солнце может разрушить вековой уклад жизни! К тому же ваши противники обвиняют Филофея и в том, что его эксперименты есть нарушение прав человека. Куда больше?! Что ты на это скажешь?

— Нет, это не нарушение прав человека! На мой взгляд, нет. Я об этом пишу. Можешь прочесть. Знать о тавре Кассандры — наш долг, долг общества и долг личности, прежде всего долг зачавшей женщины, она сама должна быть заинтересована, если на то пошло, проверить, не посылает ли зародыш из ее чрева эсхатологические сигналы. Статистические данные, касающиеся кассандроэмбрионов, со временем станут одним из самых приоритетных социологических показателей, по которым будут судить о состоянии и развитии общества.

— Я с тобой, Роберт, допустим, согласна. Но если другие не захотят всего этого принимать? Если ты никого не убедишь?

— Многое будет зависеть от обстоятельств, от общей обстановки. Энтони Юнгер совершенно прав, да, надо подключить самого Филофея. Главный его козырь — данные научных наблюдений, с помощью которых был установлен эсхатологический характер реакции кассандроэмбрионов. Нужно, чтобы он эти данные обнародовал. И все вместе взятое, от биологических факторов до философских выводов из них, нужно публично изложить еще раз, скажем, на пресс-конференции. И важно, чтобы сам Филофей был в прямом эфире! Если Юнгер сумеет осуществить свою идею, будет здорово. Я целиком — за. Сейчас пошлю ему факс, а дальше посмотрим, поживем — увидим...

Они замолчали, оба в халатах, взлохмаченные, осунувшиеся за ночь и как бы не принадлежащие самим себе — впервые им в жизни выпала ночь нескончаемой тревоги, обнажившей за пределами их обычных забот нечто грозное, что надвигалось на них. Так расширяется Вселенная через боль и страдания.

Было уже светло за окнами, наступало утро.

День обещал быть, как и минувший, ясным, по-осеннему хрупким и ярким. Слышались отдаленные голоса птиц — опять собирались спозаранку отлетающие стаи. Роберт Борк представил себе, как они кружат в небе под лесным взгорьем, над гольф-полями и как они тронутся в дальний путь, полетят берегом океана, над бурлящей внизу белой каймой прибоя; хотелось вместе с ними двинуться, улететь отсюда, но предстояло продолжать то, что обернулось вдруг непреложным делом жизни.

О том, что мир не оставил их, не забыл и не собирался забывать, с наступлением утра стало ясно. А началось все с того, что поступил факс от дочери из Чикаго. Эрика писала в недоумении и тревоге: «Всю ночь не могла дозвониться. Ваши телефоны отключены, факс занят. Папа, что происходит? К чему ты все это затеял? Чикаго бурлит. Все против. Мы с Джоном в шоке. Умоляю: остановись. Мама, куда ты смотришь?!»

Джесси, естественно, сильно нервничает:

— Что делать, Роберт? Ты — отец. Дочь разволновалась, а она беременна. Зять тоже не в восторге. Я понимаю Джона: он член директорского совета, ему придется там выбрать линию поведения. Мы не можем не думать об этом.

— Правильно, все правильно, — вынужден был соглашаться Борк. — Но что я могу сказать в данной ситуации? Дело не исчерпывается семейным кругом. Если бы так!.. Успокойся, Джесси. Я напишу Эрике, позвоню, постараюсь объяснить, постараюсь успокоить. А потом молодые тоже ведь должны думать своей головой. Разумеется, для них, особенно для Джона, процветание компании прежде всего. Но жизнь за пределами автокомпании тоже существует, и ее проблемы не менее важны для всех и каждого. Ничего не имею против — хорошая пара, счастливы. Но сама понимаешь, эгоизм, социальный, кстати, должен иметь какие-то пределы.

— Ой, Роберт, тебе бы только лекции читать. Ладно, не забудь, когда освободишься, отправь Эрике факс, — с этими словами Джесси засобиравшись, накидывая на плечи шерстяную кофточку. Вняла-таки совету Юнгера, отправилась пораньше вывесить объявление — просьбу к возможным посетителям не беспокоить и свои извинения в этой связи. Она уходила в сопровождении патлатой

кошки, которую они дома считали кошко-собакой, поскольку это домашнее животное, будучи кошкой, умело быть, если не совсем, то почти собакой. Так по крайней мере угодно было думать хозяевам.

Когда Джесси уходила, хлопая дверьми, на ходу причесываясь и что-то говоря бегущей рядом кошко-собаке, Роберт Борк сел за факс передать законченную за ночь статью в «Трибюн», чтобы к приходу сотрудников редакции материал лежал у них на столах и с ходу был запущен в работу. То, что статья будет экстренно напечатана, у него не было сомнений; он сделал даже требовательную приписку, что текст может быть напечатан только в том виде, как предлагает автор, что никакие изменения недопустимы. Сомневаться в том, что статью напечатают, не приходилось по той простой причине, что у «Трибюн» иного выхода и не оставалось. Отважившись на публикацию космического послания Филофея, газета не могла поступиться позицией — помимо всего прочего, она должна была сохранить свое лицо. Это был случай в своем роде беспрецедентный, когда газета могла сказать себе только так — быть или не быть...

Но о том, что могло последовать затем, тоже гадать не приходилось. Схватка вокруг газеты, вокруг Филофея и теперь уже вокруг его, Борка, имени обещала быть с первых же утренних часов жестокой и беспощадной. Если называть вещи своими именами, то предстояла борьба именно не на жизнь, а на смерть...

Четко отбивая каждую операцию сигнальным звонком, телефакс глотал предлагаемый ему текст страницу за страницей. И хорошо, что успел пропустить. Минуту спустя Роберт Борк уловил, что на улице происходит что-то неладное: в дом вбежала их кошка, вся такая взъерошенная, точно ей повстречался вдруг во дворе ненавистный ей приبلудный пес, что служило порой причиной долгого ее раздражения. Но вслед за этим Борк увидел через стекло, как нервно бежит по террасе в дом Джесси, сжимая в руках ворох каких-то бумаг и картон. Она ворвалась вне себя, бледная и задыхающаяся. Можно было подумать, что ее душили на улице, и вот она вырвалась из рук.

— Что случилось, что с тобой? — невольно подался к ней муж.

— Роберт! Это страшно, это невероятно! Выхожу, а какие-то негодяи, они там, за углом, поставили машины и сами стоят там... вот смотри, что они понаклеили!

Джесси швырнула на стол вместе с газетами то, что она содрала со стены и принесла с собой с улицы, — хамские, оскорбительные надписи, наспех намалеванные красками. Глянув на них, Борк и сам остолбенел. «Нам стыдно, что Борк живет на нашей улице!» — должно быть, кто-то из соседей писал. И еще: «Женоненавистник, чревокопатель Борк, вон из нашего Ньюбери!», «Феминистки Ньюбери презирают Борка!» Другие еще круче: «Борк — подлец!», «Борк — агент КГБ!», «Борку пулю в лоб!», «Не попадайся мне на углу, старик, придушу! — Эмбрион по фамилии Кассандровый».

— Стало быть, решили начать с утра пораньше! — пробормотал Борк в замешательстве.

— С утра! Как видишь, с утра! А что будет дальше, Роберт?! Что же будет? Это же уму непостижимо!

Роберт Борк зашагал по комнате, стискивая руки за спиной так, что становилось больно.

— Нам следует быть готовыми ко всему, — жестко сказал он жене, стараясь не сорваться на крик. И это было очень трудно — сдерживаться, когда вскипала кровь. — Раз уж такое началось, надо ждать худшего. Все это могло иметь более цивилизованные формы, если бы не вчерашний митинг. Ордок сдернул узду с событий, черт его подери!

— Если бы ты видел! — кивнула Джесси на улицу. — С каким хамским видом стоят они на углу. Какие-то типы. Покуривают возле своих машин. Я стала сдирать со стены эти гадости, а они мне свистят, хохочут.

— Какие они с виду? Местные?

— Откуда мне знать. В джинсах, в куртках, как обычно. По-моему, среди них и женщины.

— Ну, ясно, — пробормотал Борк, хотя ничего ясного не было.

— В полицию надо обратиться, Роберт. Звони в полицию. Пусть принимают меры.

— Не спеши, успеем позвонить. Надо подождать. Если что, тогда — конечно.

— Да ведь это последняя степень падения! Это за пределами мыслимого! А ты — подождать! — Джесси опустилась на стул и снова зарыдала.

— Джесси, милая, дорогая моя! Ну что ты так, ну возьми себя в руки! — склонившись к ней, беспомощно бормотал Борк, а она уже не могла говорить и только всхлипывала:

— Если бы ты знал! Если бы ты знал!

— Я принесу тебе успокоительное. Я сейчас, Джесси, перестань. Я сейчас!

Он бросился к ней в спальню за каплями, наткнулся на дверь, ударился о ее край и в этот момент заметил в углу валявшийся на полу скомканный кусок бумаги. Он понял, что это Джесси швырнула на ходу какой-то из листков. Что же там было такое, что она, даже будучи в полубезумье, откинула его прочь, чтобы муж не видел? Он прочел и понял. Дурно стало. «Борк, подставь задницу Филофею, а то у него бабы-то нет в космосе!» И соответствующий тому рисунок. И подпись: «Привет. Кассандро-эмбрион».

Он не помнил, как вышел во внутренний дворик, в свой каменный сад. И хотя призывал себя не поддаваться моральному террору, настраивал себя на то, что нужно прощать людям, не ведающим, что творят они сослепу и по убожеству ума, убеждал себя, что ему надлежит быть выше всей этой низости, легче не становилось. Вот и случилось: там, где посещали его, бывало, высокие думы и виделись внутреннему взору очертания вечности, не поддающиеся объяснению словом, и что пытался он выразить, вычерчивая на песке некие таинственные знаки, над которыми жена посмеивалась, теперь пришлось ему сидеть, по-скотски униженному и оскорбленному. Не ирония ли, не издевка ли это судьбы за элитарность и непростительное для его возраста прекраснотушие? Как малоопытен он оказался, как плохо знал, сколь жесток и мстителен мир. Вот и вкусил похабщины на склоне лет.

Солнце, появившееся над горизонтом, казалось пустым, ненужным. Не хотелось ничего ни видеть, ни слышать.

Он машинально развернул газету, которую почему-то держал в руках, когда выходил из дому. Это была местная ньюберийская газетка, экстренный выпуск. И опять он убедился, что быть ему волком в облаве. На первой полосе под большим аншлагом был помещен отчет с пресс-конференции Оливера Ордока, которую тот провел по завершении предвыборного митинга. Материал был получен от Ассошиэйтед Пресс. Фотография Ордока, и не одна, крупным планом — Ордок, яростно жестикулирующий на трибуне. И через всю полосу его слова: «Большевистская чистка генофонда — не пройдет!»

Вот он куда швырнул копые: поскольку Филофей русский — то, значит, большевик. Абсурдно, но эффектно! Теперь понятно, почему в одном из листков Борка называли агентом КГБ. Все шло из одного загаженного источника. Ни говорить, ни думать об этом не хотелось. Угнетающая пустыньность души.

Он обернулся, когда рядом раздался голос жены. Опухшая от слез, Джесси пыталась взять себя в руки.

— Вот только что срочный факс пришел от Энтони, — сказала она, присаживаясь рядом.

«Мистер Борк, — писал Энтони Юнгер. — Нам надо срочно поговорить по телефону. Пожалуйста, включитесь, отзовитесь. Речь пойдет о космическом телемосте. Если удастся его наладить, мы раскроем людям глаза. Надо обсудить, сможем ли мы установить технику у вас дома. Мистер Борк, кругом на нас наступают, но не падайте духом. Я буду звонить через 10 минут. Ваш Энтони Юнгер».

— Это уже дело. Энтони действует! — оживился Борк. — И вообще надо включить телефоны, Джесси. Пусть звонят, никуда мы не денемся от звонков. Не сидеть же, отгородившись от мира!

— Пожалуй, ты прав. И вот еще одно послание следом пришло, — сказала Джесси. Это был факс от ректора университета. Тот писал: «Мистер Борк, в ваших интересах очень прошу, не приезжайте в университет читать лекции».

— Все понятно, — проговорил Борк. — Пошли к телефону.

Звонок Энтони Юнгера был светлым лучом в то страшное утро:

— Мистер Борк, рад вас слышать. Факс хорошо, но слышать голос лучше.

— Ну, еще бы! Конечно! — отозвался Борк как можно более уверенным тоном. — И супруга моя, Джесси, приветствует тебя, Энтони.

— Очень хорошо. Спасибо ей. Думаю, что мы все увидимся сегодня. Очень нужно было бы.

— Слово за тобой, Энтони, предлагай. Твои ночные факсы спасли нас от заточения в башне из слоновой кости. Позволь посмеяться хотя бы над собой. Ну а как дальше? Надеюсь, что есть какие-то перспективы?

— Есть целая программа действий. Но прежде всего я хочу сказать вам, чтобы вы знали, мистер Борк, ваша статья, которую получила редакция, возможно, уже передается в космос Филофею, я это уточню через несколько минут. И делается это не только для того, чтобы познакомить Филофею с его первым земным, назову Вас так, — партнером по космогенетике. Так вот, возможно, Филофей уже знакомится с вашим текстом. Мы хотим организовать телемост и провести пресс-конференцию, в которой будут участвовать Филофей и вы.

— Энтони, дорогой, это захватывающе по замыслу. Но не представляю, как все это можно устроить. Да еще за такое короткое время.

— Не волнуйтесь, мистер Борк! Я не один. У меня верные друзья, большие связи, «Трибюн» целиком на нашей стороне, и она действует, если хотите, ради своего выживания. Но самое главное — все ретрансляторы телемоста заинтересованы в этой акции как в мировом шоу и, мало того, уже подсчитывают свои неожиданные и немалые прибыли от катающихся на льду. И поэтому работают вовсю.

— То есть? Кто катается на льду?

— Извините. Наверное, дурацкое сравнение. Да, мы на скользком льду. Но не будем сейчас об этом. Извините, я останавливаю себя. Времени в обрез. Я продолжу разговор из машины. Мы едем к вам, в Ньюбери. Нас четверо, я и трое ребят, отличных настройщиков космической связи из НАСА. И так, нас четверо, на двух машинах. Одна машина — джип-фургон с техническим оборудованием. Все остальное объясню по пути. Мы рассчитываем быть у вас в Ньюбери минут через сорок, а то и

раньше. Насколько я разобрался по карте, ваш дом в полумиле от супермаркета «Конферанс», не так ли?

— Да, точно, в трех кварталах.

— О'кей! Стало быть, мы выезжаем. Итак, только не смейтесь, я — начальник штаба операции, Филофей — маршал космоса, а вы...

— Я подполковник при Джесси, — нашелся Борк.

— Одну минутку, Энтони. Я понимаю, времени мало, но ты молодой человек и вообще, так что имей в виду, расходы по космической связи с моим домом я беру на себя.

— Поздно, мистер Борк. Заинтересованные телекомпании все финансируют сами. У них свои виды. Не волнуйтесь. Впрочем, я тоже кое-что могу. Отец мой был известным адвокатом, так что... Не думайте об этой стороне дела. Думайте о кассандро-эмбрионах, о Филофее.

— Об Ордоке, — добавил Борк.

— В первую очередь. Он тоже разворачивает боевые действия. Об этом — в пути. Да, мистер Борк, извините, но я не рекомендовал бы вам выходить за пределы дома и вашей жене тоже. Даже в супермаркет. Воздержитесь. Не надо сегодня. Мы все привезем с собой. Выезжаем.

Вскоре он позвонил с дороги. И этот небольшой промежуток времени между звонками показался супругам Боркам бесконечным, как после посадки на поезд с вещами, когда все, что было до того, осталось позади, как бы исчезло за горизонтом, а поезд не трогается. Они вдруг поняли, что их жизнь обрела иной темп — жесткий, измеряемый минутами от события до события, и что наступает решающий момент их судьбы. Не какой-то загадочной, неопределенной участи, а той, что складывалась из побуждений и действий вплотную приблизившихся к ним враждебных сил.

— Мы уже выезжаем на автобан, — сообщал Энтони Юнгер. — Движение нормальное, пробок не вижу, должны прибыть вовремя, а пока поговорим о делах.

— Я слушаю, Энтони, мне хотелось бы знать, что происходит. Мы с Джесси несколько самоизолировались, ты знаешь, даже телевизор и радио не включаем.

— Мистер Борк, не буду преуменьшать, положение очень серьезное. Вы должны знать, что везде, во всех странах, картина одинакова — массовое неприятие.

— Мм-да, — пробормотал в трубку Борк. — Энтони, насколько я понимаю, люди не в состоянии воспринять кассандро-эмбрионов как объективно существующую реальность. Да, конечно, это тяжелый психологический удар, возникает необходимость пересмотра всех жизненных основ. Так лучше отвергнуть, лучше затоптать змею сомнения..

— Вот именно, — отозвался Энтони. — Я бы сравнил это с тем, как если бы в конструкции моста, к примеру такого, как в Сан-Франциско над заливом, были обнаружены дефекты, но еще можно было бы ездить. Так зачем об этом думать? Скорей, скорей, побольше перевезти груза, а другие пусть думают потом, как быть с мостом. Но я хотел бы обратить ваше внимание, мистер Борк, пока у нас еще есть немного времени в пути — за рулем один из операторов, и я могу спокойно говорить с вами, — ну так вот, обратить ваше внимание на прелюбопытные вещи, а вы уж делайте выводы. Я перелистал газеты, слушал радио, телевидение и обнаружил две негативно-воинственные тенденции в отношении к открытию Филофея. Очень сильно задеты националистические самомнения. В Израиле это воспринято как попытка извести таким образом генофонд израильтян. Брошен клич найти щит против зондаж-лучей, изобрести нейтрализатор филофеевского облучения. В России мощное движение протеста вылилось в демонстрации с требованием немедленно вернуть Филофея

из космоса, никакой он, мол, не монах, и, главное, — хватит нам одной перестройки, хватит гайдаровских реформ, не допустим генетической перестройки русского народа. Филофей — это Горбачев в космосе! Он служит Америке! Он хочет поставить Россию на колени! Вот куда пошли страсти.

— Ну, это совсем печально, очень тяжело слышать, мне просто больно стало. Как же быть? — заволновался Роберт Борк.

— Но вы послушайте дальше. В Китае увидели опасность совсем в другом — в том, что это способ обесценить значимость их демографического превосходства. Там лозунг — не допустим демографической культивации! А в Индии брошен призыв замазывать тавро Кассандры ритуальным пятном.

— Ой-ой-ой, — поражался Борк, — что творится, Энтони!

— Но меня больше поражает другое, мистер Борк, вот интересно, что вы скажете на это. В Гамбурге с истеричным протестом выступили проститутки и сутенеры, знаменитые, припортовые. В Сицилии мафиози организовали, можно сказать, всенародный поход по набережной Палермо. В Латинской Америке многочисленные протесты стихийного характера, особенно в районах подпольных наркоплантаций. Даже порноиндустрия не осталась в стороне — тоже протестует. Да, террористические организации, всевозможные революционеры — все яростно против. Будь Филофей в пределах досягаемости, они бы его... Кстати, военные круги в разных странах тоже очень недовольны. И что не совсем понятно — продюсеры киноевиков подняли голос.

— Ну, видишь ли, Энтони, — отозвался Роберт Борк, — я склонен полагать, что тут дает себя знать корпоративно-профессиональная стайность. Любая стая хочет жить и умножаться. Я бы так сказал. А тавро Кассандры на их пути — великая помеха, в перспективе им грозит остаться невостребованными — в обществе ослабеет потребность во многих из этих групп. И вот срабатывает инстинкт самосохранения, стая улавливает неблагоприятную ситуацию. И я их понимаю. Алло, алло, Энтони, что-то плохо стало слышно.

— Я прекрасно слышу вас, продолжайте, это очень интересный подход.

— Так вот. Да, слышимость наладилась. Так вот, я продолжу. Если под влиянием филофеевских открытий изменится менталитет человечества, если род людской будет по-иному смотреть на себя, постоянно прислушиваясь к сигналам эмбрионов, то предрасположенность к негативной самореализации индивида может заметно уменьшиться. И вряд ли кого тогда потянет заниматься сутенерством — в обществе, где не будет на то спроса, как не будет прежнего широкого набора проституток, и не только гамбургских. И мафии — то же самое, бандитизм, преступность — все взаимосвязано. И если в результате превентивных усилий поколений, для которых тавро Кассандры будет не позором, а предупреждением и, главное, — стимулом постоянного самосовершенствования людей, исчезнет генетическая предрасположенность к негативной самореализации индивида, то оправдан и переживаемый кризис. Невольно задаешься вопросом...

— Мистер Борк, не хотели бы вы высказать эти мысли во время космического телемоста?

— А почему бы и нет? Вопрос в другом: захотят ли меня слушать и услышать? Ведь протестующие, которых ты упоминал, боятся пасть в собственных глазах, боятся лишиться стабильности. Ведь в дальнейшем должны произойти коренные изменения в мышлении, которое станет отторгать все порочное, губительное в бытии, то, чего инстинктивно так опасаются кассандро-эмбрионы. Причем преобразование самосознания произойдет не в связи с благими моральными пожеланиями, это будет единственным реальным условием выживания и прогресса. В данный момент все это невозможно даже представить себе.

— Кстати, мистер Борк, уже много информации о протестах различных религиозных общин.

— Это и понятно. Тавро Кассандры по природе своей касается всех и вся в одинаковой степени. Реакция кассандро-эмбриона в этом смысле универсальна. Силам же, эксплуатирующим разделенность человечества на группы, блоки, течения, на своих и чужих и духовно паразитирующим на этой разделенности и противопоставленности, кассандро-эмбрионы совсем ни к чему. Они для них помеха, смута, общая, а не сектантская проблема. Такие силы будут всячески порочить Филофея и его открытие на всех языках и наречиях. Тут для меня ничего удивительного...

— Я с вами и в этом согласен, мистер Борк, мне этот разговор многое еще больше прояснил. Но извините, вынужден прерваться на минутку. Меня срочно по кодовому телефону. Нет, нет, вы не кладите трубку. Я сейчас узнаю, в чем дело, и мы продолжим. (Алло, алло. Какие новости? Да? Вон оно что! Это не совсем хорошо. Есть. Все понятно. Будем действовать.) Мистер Борк, извините, пожалуйста. Как говорится, по имеющимся сведениям, ситуация продолжает усложняться. Я попросил бы вас позвонить в местную полицию, предупредить, что к вашему дому от стоянки у супермаркета направляется сейчас большая группа демонстрантов. Ясное дело, будут протестовать, шуметь под вашими окнами.

— Хорошо, Энтони, я сейчас позвоню в полицию. Жена давно уже предлагала это сделать, да я как-то не торопился. Нам уже с раннего утра клеили на стены разные листки. Джесси сейчас сама пойдет звонить полицейским.

— Да, мистер Борк, эта мера предосторожности будет не лишней. Тем более мне сказали только что, что «Трибюн» с вашей статьей уже выкинута читателям. Экстренный выпуск.

— Вот как?! — нервно воскликнул Роберт Борк. — Стало быть, газетчики времени не теряли.

— Естественно. Вы крупнейший футуролог, и ваше слово сейчас на вес золота. Конечно, вокруг статьи закипят сейчас такие страсти! Это первый пушечный выстрел из осажденной крепости. Но это и единственный выстрел по Ордоку. Не скрою, меня это сильно огорчает. Думаю, что люди, разделяющие вашу позицию, есть и что их немало. Нестандартно мыслящие интеллектуалы не могут не задуматься над феноменом кассандро-эмбрионов. Ведь это поворотный пункт нашего самопостижения. Когда такое бывало в истории?! И казалось бы, все, кто ухватывает смысл этого явления, должны бы запеть весенними птицами на ветвях. Но — и я больше чем уверен в этом — к сожалению, подавляющее большинство интеллектуалов не посмеют встать против течения, сшибающего с ног. И в этом — весь он, элитарный субъект, против толпы — нет, не поднимет голоса, за углом перестойт. А тем временем Ордок бегаёт с факелом, буквально запалил мировой пожар в умах и в душах, успел подчинить себе и поднять плебс. Все вокруг кликом кличут. Всем не терпится действовать, сбиваться в толпы. Если уж проститутки вышли организованно на митинг, то что говорить об остальных?!

— Энтони, извини, я перебыю, хочу сказать к слову, как старший по возрасту. Ты еще совсем молод, и, когда ты говоришь о проститутках, тебе смешновато, я понимаю. А мне это представляется очень печальным. Конечно, они во все времена вели себя соответственно своему занятию, но такого, чтобы проститутки публично выходили ватагой на митинг протеста, такого, прости меня, я не слыхивал. Несмотря на профессиональный цинизм и самоуверенность, свойственную им, пришлось бедным проституткам и тут ощутить свою зависимость от жизненных обстоятельств. А ведь знак Кассандры — это плач по таким вот загубленным в генетических чащах цветам.

— Их подбили на выступление сутенеры от политики, как подбили они и других. Думаю, что сейчас и сам Ордок не в состоянии контролировать джинна, которого он выпустил из бутылки. Зачем далеко ходить за примерами. Вот я смотрю, что происходит на дороге. Смотрю и догадываюсь, что многие машины, обгоняя нас, мчатся именно к вам, в Ньюбери. И почти все в машинах, как и я, кстати, что-то кричат в телефоны. Выражение лиц не обещает ничего хорошего. В каждой машине народу битком. Мне сказали, что собираться они будут на стоянке у супермаркета.

— Ну да, Энтони, там очень удобное место для сборищ такого рода.

— Но если бы только там! Извините, меня опять отвлекают. (Алло, я слушаю, да, я Энтони Юнгер. Слушаю. Ясно. Да, да, говори, я слушаю. Я так и полагал. Хорошо. Держи меня постоянно в курсе. Понятно. О'кей!) Мистер Борк, вот только что сообщили — в Нью-Йорке на улицах толпы демонстрантов. Особенно большое скопление народа перед зданием ООН. Полиция едва сдерживает. Демонстранты требуют санкции на удаление Филофея из космоса. Это уже международная акция. Что характерно, впереди идут зачавшие женщины, отмеченные в последние дни тавром Кассандры. Они с подкрашенными лбами и с плакатами: «Смотрите, нас клеймили тавром Кассандры. Спасите нас!» И многие мужчины и женщины, в знак солидарности, тоже идут с перечеркнутыми крест-накрест лбами. Вот такая ситуация.

— Да, Энтони, хорошего мало, что и говорить.

— Обсудим при встрече. Скоро будем. Главное, мистер Борк, установить аппаратуру, выйти на связь с Филофеем и тогда вместе подумать.

— Жду, Энтони. Я уже слышу возле дома какие-то голоса. Джесси побежала закрывать гараж. Вижу в окно. Какие-то типы кидают камни в бассейн — хулиганят. Надеюсь, полиция сейчас прибедет. Жду. Да, извини, Энтони, а сколько времени потребуется для налаживания связи с Филофеем?

— Ребята говорят, около часа, ну, может, чуть побольше. Там видно будет. Тогда вы сумеете поговорить с Филофеем, так сказать, с глазу на глаз. Мне сообщили, что он уже получил по факсу оттиск вашей статьи. Нужно будет договориться о стратегии и тактике, как провести пресс-конференцию. Ну, по приезде еще поговорим. Мы скоро, ждите!

Шум на улице нарастал. В окно было видно, как спешили выходявшие из машин и те, что шли пешком от автостоянки у супермаркета. Собравшиеся стояли у ограды под деревьями, о чем-то оживленно переговариваясь, намалеванные краской плакаты и призывы уже держали на виду. Все — на одну тему, с открытыми угрозами: «Борк — тебе нет пощады!», «Задавим в берлоге монстра лжеучения!», «Выжечь на лбу профессора тавро Кассандры!», «Кто попирает права человека, тот сам их лишится!», «Мы не обязаны терпеть террориста от науки!», «Борк — подручный сатаны!», «Филофея и Борка — на одну перекладину!» и еще и еще...

И лихорадочно думалось Борку — кто они, эти люди? Почему и зачем они разом явились сюда? Никогда не виделись, не знали, не подозревали о существовании друг друга. И вот пробил час — и сошлись. И теперь они гудят на улице в ожидании какого-то действия — белые, черные, мужчины и женщины, молодые и старые, приехавшие кто с громкоговорителем, кто с фото- и киноаппаратурой, многие с радиотелефонами, по которым они живо переговаривались с кем-то, находившимся в другом месте. И как странно, невероятно было убеждаться в том, что это именно та сила, о которой прежде он судил по историческим исследованиям и теоретическим статьям, которую видел отображенной на живописных полотнах, в театральных постановках и киносюжетах, авторы которых пытались обрисовать толпу и понять, чем объясняется непредсказуемость ее поведения.

И вот они здесь, те, что явились толпой. Они вплотную стоят вдоль ограды, из окон видны их лица. Чего они хотят добиться, чего жаждут? Какого исхода? Их руки незримо обжигает факел — эстафета от Варфоломеевской ночи, их ноги натываются на окровавленные булыжники римских бунтов, над головами — надсадный гул громадного осинового роя, ищущего выхода в излиянии яда. Вина ли их в том, беда ли или некая чумная сверхсила согнала их сюда в наказание? Как быть, что сказать им, совсем недавно еще потрясавшим на площадях само небо криками восторга и преданности из сотен тысяч глоток при виде неотразимого фюрера, кидавшимся по мановению его руки по колено в крови и на запад, и на восток, и на юг, и на север; что сказать им, совсем недавно еще топтавшим друг друга в смертодавке перед гробом Сталина, чтобы только ухватить краем глаза облик обожаемого до мочеиспускания и тотчас изойти вместе с ним в иные миры, удаляясь в черном полете над континентом расстрелов и казней; что сказать им, вчера еще безавшим ревушей ночной толпой по

тегеранскому летному полю навстречу взлетающему авиалайнеру иранского шахиншаха, спасающегося от расправы и едва успевшего пронестись над головами пытавшихся ухватиться за шасси? Еще долго бежала обезумевшая толпа по взлетному полю, и мигали, удаляясь в выси, огни самолета, и стояли в небе не подвластные людям звезды, и бесновались эти люди, сжигаемые жаждой несостоявшейся мести, взывая к Аллаху вернуть тот самолет немедленно назад...

И вот толпа здесь, на новом перепутье, у ворот его дома...

Он стоял у окна, рядом стояла Джесси. Их разговор чем-то напоминал плавание в безвоздушном пространстве:

— Слушай, Роберт, они не шутят.

— Совсем даже нет.

— Что же делать?

— Думаю, что мне надо появиться, я должен выйти к ним.

— Да ты что, Роберт?! Ты в своем уме?

— Вполне. Они должны понять, что я не прячусь от них. Я хочу, чтобы они знали: бунт не может остановить генетическую деградацию, наоборот, насилие лишь ускорит приближение апокалиптического финала. Я хочу сказать им, что тавро Кассандры — это вызов, брошенный нам судьбой. Каждый сигнал кассандро-эмбриона касается всех нас. И если мы это поймем, то есть выход, есть шанс. Надо оглянуться, чтобы увидеть, что впереди.

— Замечательно, но прежде подумай, Роберт, кому ты все это собираешься объяснить. Это же не университетская лекция. Кто тебя будет слушать? Они не для этого сюда пришли!

— У меня нет другого выхода.

— То есть как? Ты же сам говоришь, что сейчас Энтони наладит связь с космосом, ты увидишь Филофея и сможешь все обсудить с ним, а вечером вы вместе с Филофеем проведете пресс-конференцию, изложите свое понимание проблемы. И люди, я надеюсь, поймут, наконец, что вы им блага желаете, а не зла.

— Пока я тебя слушаю, я соглашаюсь с тобой, Джесси, но только пока слушаю. Ведь эти люди, стоящие тут, не будут ждать пресс-конференции. Им нужна немедленная разрядка, они жаждут действий. Смотри сама, видишь, они все прибывают и прибывают, и чем больше их собирается, тем они становятся агрессивней. Пока не поздно, я должен открыто поговорить с ними.

— Не знаю, Роберт. Ты рискуешь.

— Что значит — рискую? Я должен объяснить им, что я думаю об открытии Филофея.

— Ты уже объяснил это в своей статье.

— Этого мало. Или вообще ничто. Эти люди не читают статей.

— Роберт, смотри, что они делают, — они жгут твои портреты!

— Мои портреты? Я что, политический лидер?

— Смотри! Это увеличенные ксероксы с твоей фотографии.

— Что я могу сказать? Жалко, сжигают бумагу.

— Но где же полиция?

— А при чем тут полиция? Полиция прибыла. Вон трое стоят сбоку от въезда. Ты разве не заметила их?

— Всего трое? Что же они молчат?

— А что они могут? Кому-то нравится жечь чьи-то портреты. Вот и все.

— Сколько раз видела подобное по телевизору. И вот в натуре. Как в Индии какой-то. В точности, как там! Ой, поскорее бы уж Энтони приехал! Как ты думаешь, почему их нет?

— Не знаю. В это время пробки бывают. Сама знаешь.

Они замолчали. Не хотелось ни сидеть, ни стоять, ни говорить, ни молчать.

А в это время толпа, загудев, задвигавшись, стала скандировать, как по команде: «Борка к ответу! Борка к ответу!»

Крик нарастал, наливался злобой. Становилось невмоготу. Люди требовали, чтобы Роберт Борк к ним вышел. Откуда-то появилась группа женщин с накрашенными лбами. Они принялись кричать, размахивая свежими номерами «Трибюн»: «Борк подлец! Борку выжечь тавро Кассандры! За тавро Кассандры — бить! Борк — подлец!» Другая группа орала: «Ордок прав! Ордок прав!»

Обстановка накалялась, толпа была фанатично возбуждена. Полицейские, взывавшие к порядку, оказались совершенно беспомощными. Один из них, с трудом выбравшись из толпы, куда-то звонил из машины, возможно, просил подмоги.

Заполонив собой все окружающее пространство, толпа неотвратно придвигалась к дому. От напора тел ломались скамейки, валялись наземь фонари на аллее. И орали глотки, и стоял несусветный вопль.

Увидев, что муж надевает пиджак, Джесси вскричала:

— Куда ты? Не смей!

Но он оттолкнул ее. И с этой секунды мир в его враз потемневших зрачках сместился куда-то за пределы прежнего восприятия. Они встретились с Джесси взглядами: боль с болью. И он сказал как бы откуда-то издалека:

— Не останавливай меня. Я должен испить эту чашу.

Лицо Джесси искривилось в отчаянии:

— Ты идешь на погибель!

— Даже если так, — глухо ответил Борк, — все равно я должен пойти.

Он схватил за чем-то с вешалки шляпу и решительно двинулся к выходу. Вышел, и его обдало накатившимся жаром, волной живого горения бушующей в ожидании его толпы. Воздух дрогнул от взрыва криков при его появлении. Задергались транспаранты и плакаты, каждый норовил сунуть свой плакат ему в лицо. Он стоял у дверей, растерянно улыбаясь из своего далека, глядя на всех и не видя в отдельности никого. Резким жестом надел шляпу и на мгновение стал таким, каким был

всегда — седым мосластым стариком, с крупными, подвижными чертами лица, с темными глубинами глаз в морщинистом прищуре, с еще крепкой шеей и крепкими губами. Он был Старой скалой, как называли его однажды франкфуртские журналисты.

В наступившей паузе Борк клопочущим от волнения голосом успел произнести несколько слов:

— Кассандро-эмбрионы — это наша беда и наша вина. И мы должны держать ответ перед ними!

Какая-то женщина кошкой прыгнула к нему.

— А вот это ты видишь?! — ткнула она себе в клейменный лоб. — Ты видишь тавро мое от дьявола из космоса?! Читай вот! Сатана сатане поет! — и принялась яростно хлестать футуролога по лицу газетой с его статьей. Газета разлеталась в клочья, шляпа покатила на землю, и ее тут же растоптали, а женщина продолжала истошно орать, как орала, должно быть, у себя на кухне. — Ты еще у меня попишешь! Я еще и до космоса доберусь! Я еще этого Филофея придушу!

— Бей его! Бей! — запалаясь ее неистовством, вскричали стоящие вокруг. — Тащи его! Тащи сюда! — заорали те, что позади, и двинулись к нему с кулаками. Его потащили десятки рук, и все смешалось. Джесси оказалась в давке, но никто не обращал внимания на ее мольбы и слезы.

Съемочная группа телевизионщиков, пытавшихся заснять эту дикую сцену, тоже была смята, аппаратура валялась под ногами. Несколько полицейских, тщетно пытавшихся что-то предпринять, сами оказались щепками в водовороте. А Роберта Борка тащили куда-то, неизвестно куда, но куда-то. Каждый тянул в свою сторону, вцепившись ему в горло, схватив за волосы, раздирая края рта, превращая лицо старика в кровавое месиво. Толпа яростно давила и самую себя, каждый всех, все каждого. И это еще больше разжигало злобу и ненависть. И в том брутальном движении куча беснующихся людей оказалась в каменном саду футуролога, возле бассейна, и именно здесь, где, бывало, выписывал он на песке некие таинственные знаки, пытаясь проникнуть в сокрытые тайны Мирового духа, именно здесь и произошло неотвратимое. Кто-то, изловчившись, нанес Борку яростный удар по голове железным рифленным прутом, выдернутым из клумбы, где на нем держались вьющиеся стебли. Борк громко вскрикнул и, схватившись за голову, упал навзничь, корчась в судорогах и заливаясь кровью, но его продолжали бить.

В этот момент, однако, ощутилось в толпе какое-то новое движение, какие-то сильные люди начали раскидывать всех в стороны, пробиваясь к Борку. Это действовали подъехавшие наконец Энтони Юнгер с помощниками по наладке космической связи, теперь уже никому здесь не нужной. Им удалось быстро пробиться к избиваемому насмерть Борку.

— Кто это сделал? Кто?! — Энтони Юнгер хватал и расшвыривал всех подряд. — Преступники, вы все преступники!

А над улицей снижался подлетевший полицейский вертолет. Сплошной свист винтов заглушил крики, поднялся сильный ветер. То была сцена, как в немом фильме, — беснующаяся неслышно толпа. Вертолет сел, из него начали выскакивать полицейские с дубинками. И только тогда толпа опамятствовала. Люди стали разбегаться. Многие кинулись в сторону супермаркета, к своим машинам. Многие уже поспешно выруливали и гнали прочь на бешеной скорости. Еще несколько минут — и никого не стало.

Энтони Юнгер с двумя помощниками несли растерзанное тело Роберта Борка, еще один вел под руку спотыкавшуюся, обезумевшую Джесси.

Вместе с полицейскими все они поднялись в вертолет, затем помощники Юнгера спустились обратно, сели в свои машины с оборудованием для космической связи, а вертолет начал набирать высоту. Он взлетел почти вертикально над домом. И все умолкло.

Ни души не осталось вокруг, никого не было возле покинутого дома с побитыми дверями и окнами, с разбросанными скамейками и опрокинутыми фонарями, с истоптанным каменным садом чудаковатого футуролога. То была пустыня после погрома.

Через минуту вертолет уже летел над гольф-полями, где когда-то любил бывать Роберт Борк, совсем еще недавно снились ему эти лужайки света, зелени и простора, и покойный друг Макс Фрайд звал его на лунные гольф-поля.

Вертолет держал курс на городской госпиталь...

Энтони Юнгер склонился над Робертом Борком. Скинутой с себя рубашкой он перевязал ему голову, стараясь остановить кровотечение. Он держал его голову, обернутую рубашкой, на коленях, пытаясь заметить хоть какие-то признаки жизни, все еще надеясь на чудо. В какое-то мгновение лицо футуролога вдруг будто прояснилось, едва заметно дрогнули веки, и Юнгер увидел его взгляд. Их глаза встретились. Возможно, Борк узнал Юнгера. Они увиделись впервые в жизни и тут же расстались. Навсегда, навечно. Голова Роберта Борка откинулась навзничь...

Юнгер зарыдал, Джесси непонимающе смотрела на бездыханного мужа. Полицейские старались выразить соболезнование скорбным покачиванием голов.

Вертолет снижался над госпитальным центром, но было уже поздно...

* * *

В тот час в океане сильно штормило. Метеослужба срочно рассылала по компьютерным каналам предупреждения о большом шторме у побережья Атлантики. Самолеты, летевшие над атлантическим пространством, попадали в сильные болтанки, командиры кораблей то и дело просили пассажиров застегнуть ремни, не вставать с мест и радиовали о сложностях полета своим наземным службам. Стюардессы пытались улыбаться, но это было ни к чему, — Атлантика не шутила...

И только киты — вселенские радары, — как всегда, держали в себе все то, что испытывали, все то, что воспринимали они, эхо Вселенной. И с тем плыли киты журавлиным клином. Океан пытался разбросать их клин, повернуть их вспять. Но они плыли, борясь, погребаемые огромными волнами, вновь всплывая и вновь утопая...

Что за сила питала и гнала их, зачем и куда они плыли?

А на Красной площади в Москве была уже глубокая ночь. И приближался час совы. Она еще неподвижно дремала на Спасской башне под часами. И ждала, когда наступит время слететь вниз. Тревога терзала ее больше обычного... Что-то происходило в мире. Она это чуяла... Что-то происходило...

Глава десятая

Объявленная в экстренном порядке пресс-конференция «Космос — Земля» состоялась в тот день в назначенный час и транслировалась по всем ведущим каналам.

Но до этого телекомпаниям пришлось пережить «предэфирный ураган». Как только стало известно о гибели футуролога Роберта Борка, со всех концов мира обрушился шквал звонков и запросов, особенно много звонили из национальных компаний, запланировавших ретрансляцию сенсационной пресс-конференции. Все желали немедленно выяснить, каковыми могут оказаться последствия трагедии, удастся ли организовать телемост с Филофеем, кто будет вести с ним диалог и вообще реально ли ждать теперь пресс-конференции.

И вращалась Земля на пути своем неизменном, и приближался тот час... И все ждали...

И наконец на экранах телевизоров появились долгожданные титры. Вслед за этим дикторша объявила, что телевидение считает своим долгом вначале проинформировать о реакции в мире на убийство ученого Роберта Борка и о комментариях средств массовой информации в данной связи.

Нельзя не сказать, что комментарии были весьма тенденциозными. Начались они со стандартных выражений соболезнования и скорби, затем дикторша, едва сдерживая злорадную ухмылку, проскользнувшую во взгляде, продемонстрировала диаграмму — результаты экспресс-опроса по поводу имевшего место «суда Линча» над, как она выразилась, апологетом филофеевского учения о кассандро-эмбрионах Робертом Борком: «Результаты удручающи и в то же время ошеломительны. Судите сами, уважаемые телезрители». Из диаграммы в виде разноцветных, для лучшей наглядности, столбцов явствовало, что 83,7 процента опрошенных полностью одобрило расправу над футурологом, причем большинство респондентов этой группы — 76 процентов — заявили, что, будь они на том месте, в Ньюбери, они, несомненно, и сами приняли бы личное участие в расправе над заклятым сообщником космического дьявола; 11 процентов опрошенных осуждали преступные действия дикой толпы, видя в том зловещие симптомы нравственной деградации общества, остальная, незначительная часть респондентов выразила свое полное безразличие к происшедшему.

Затем телезрителям были представлены результаты социологического анализа массовых выступлений того дня. Это был длинный перечень стран, городов, регионов, демографических, социальных и прочих срезов. Из чего опять же явствовало, что практически весь мир, все слои населения выступили в той или иной форме с протестом против того, чтобы космический монах продолжал посылать на Землю зондаж-лучи для выявления знака Кассандры. Бросалось при этом в глаза, что определяющую роль в умонастроениях и поведении людей играл фактор национализма.

Но самое страшное, как выяснилось, происходило в тюрьмах. Возможно, это было неосознанным ответом, подспудно вызревавшим и разразившимся бунтом тех, кто когда-то был кассандро-эмбрионом, но вынужден был родиться, и вот теперь тайна отворачивания их к миру оказалась вдруг обнаруженной Филофеем. А иначе чем было объяснить эти дикие сцены, эти битвы с охраной и вспомогательными полицейскими отрядами, когда стороны шли стена на стену — в касках, со щитами и дубинками одни и с голыми руками, но в яростной волчьей злобе другие, когда сшибались они в грохоте погромов и пламени пожаров. И что бы ни было внешней причиной бунтов заключенных в разных странах и разных городах, подоплека таилась в злополучном знаке Кассандры, так болезненно воспринятом отбывающими наказание за преступления.

И еще немало эксцессов того дня преподнесли журналисты, например репортаж из одного из портов, где моряки в знак протеста отказывались выходить в плавание. Корабли стояли у причалов, как покинутые жителями дома с пустыми окнами.

И все выступавшие требовали одного — сбить ракетой космического провокатора Филофея! Уничтожить орбитальную станцию — источник зондаж-лучей.

Только после оперативного обзора такого рода событий в разных точках планеты на экране наконец появился зал, где должна была начаться пресс-конференция. Сразу бросилось в глаза: народу в зале было битком. Люди стояли у стен, сидели в проходах на полу. Все взоры были прикованы к сцене, соответствующе оборудованной, — огромный экран, на котором должен был показаться с орбиты Филофей, стоял сбоку сцены, наискось к залу. За столом на сцене располагались, каждый у своей связки микрофонов, двое: Энтони Юнгер и ведущий телепередачи популярный Уолтер Шермет. Все в зале сильно волновалось, и это было заметно по застывшим в ожидании лицам, по настороженно светящимся глазам, по вытянутым шеям. У бывалых фото-репортеров, успевавших заснять с ходу самого черта с рогами, чуть ли не дрожали держащие аппаратуру руки, они стояли, как козы, пугливо столпившиеся перед бродом через реку.

Обычно речистый Уолтер Шермет, лысоватый, франтоватый, не совсем удачно пытался улыбаться на профессиональный манер. Его элегантность и актерская небрежность в этот раз не срабатывали, не вязались с моментом. Энтони Юнгер, напротив, был слишком углублен в себя. Мало кому было дело

до того, что он был потрясен горем и лишь усилием воли заставлял себя держаться, так как ему предстояло заменить Роберта Борка, принять участие в диалоге с космическим Филофеем на глазах у миллионов телезрителей. К тому же в тот вечер прилетала из Дублина его невеста Кэтти с матерью, а он из-за пресс-конференции не успевал встретить их в аэропорту, что его очень удручало. Он был напряжен, на скулах проступили желваки. Энтони понимал: судьба кинула его на авансцену событий, чтобы он или устоял, убежденный в правильности выбора Роберта Борка, погибшего на его глазах, или сгинул под свист и камни улицы, под ухмылки и недоуменные пожатия плечами вчерашних приятелей из ордоковской команды, поглядывающих на заведенную ими, беснующуюся толпу и рассуждающих о том, что вполне может случиться, что Юнгеру придется разделить участь Борка.

Между тем накаленность массы возбужденных людей достигла своего апогея. Все ждали решающего момента — появления в телеэфире Филофея, чтобы, как сказал один из Комментаторов, загнать его общей облавой в пожар мировой ненависти. И все шло к этому, и тот момент приближался, с обратным отсчетом секунд, как перед взрывом.

А днем, когда в госпитале было составлено заключение о насильственной смерти Роберта Борка, Джесси сказала, с трудом унимая слезы:

— Энтони, если тебя ждет судьба моего Роберта, мне нечего сказать. Истина была для него превыше всего, за что он и поплатился. Но подумай о себе. Ты молод. Тебе жить да жить. Есть ли смысл вслед за Робертом ставить на карту собственную жизнь?

Тяжко было в ту минуту продолжать разговор, и он ответил коротко:

— Я вас понимаю, Джесси. Но я не хотел бы избегать того, чего не избегал Роберт Борк.

Они стояли в холле госпиталя у большого окна, в стороне от больных и лечащих. Солнечный свет чисто струился в покойное помещение сквозь стекла, небо так же покойно голубело за окном, покойно золотилась неподалеку кленовая листва на ветвях... Стара и убита горем была вдова футуролога. Чем-то она напоминала побитую бродячую собаку, скулящую в овраге. Джесси не знала, как ей быть. Слезами исходила. И должно быть, чтобы как-то совладать с собой, она бормотала вслух то, о чем думала.

— Роберт всегда говорил, что любовь — это слияние двух рек. Я все смеялась: утонешь в великоречии своем, Боб! И теперь убеждаюсь, вот и нет моей реки. Остановилась, иссякла та река, и я брошена на пустом берегу...

И еще сказала она странную, загадочную фразу:

— О бедные киты, кто о вас вспомнит теперь, когда я буду играть на виолончели...

Эти слова настолько поразили Энтони, что он хотел было даже спросить, что она имеет в виду, но не посмел. От горя, должно быть, говорилось такое.

А потом им пришлось расстаться. Энтони надо было готовиться к телемосту. Времени оставалось в обрез. Джесси оставалась в госпитале в ожидании прибытия из Чикаго дочери и зятя.

С тем они и расстались до завтра. В одном Энтони повезло — ему удалось позвонить из госпиталя в Дублин и поговорить с Кэтти перед самым их выездом. Он волновался, ведь по их приезде предстояло думать о свадьбе.

Вот так все схлестнулось в одночасье. Кто бы мог предполагать. Возможно, только метеориты сталкиваются так, летя навстречу друг другу сквозь Время и Пространство.

И разговор с Кэтти оказался непростым. Кэтти ждала его звонка, и чистый голос ее возвратил его на мгновение к тому, что было счастьем. Все было для него счастьем в ней — и прикосновение ресниц, и дыхание, и походка, счастьем, не требующим ни доказательств, ни подтверждений.

— Ой, наконец-то, Энтони! — воскликнула Кэтти. — Я так ждала твоего звонка. — И ему стало жарко от знакомого придыхания в трубке. — Мы с мамой через четверть часа уже выезжаем. Как ты там, Энтони? Ждешь?

— Извини, Кэтти. Я тоже очень нервничал, боялся, что уже не застану тебя.

— Ну, ничего страшного, совсем скоро увидимся. Просто мне хотелось услышать твой голос.

— Понимаешь, возникла одна проблема. Сейчас нет времени объяснять. Потом я все расскажу. Я хочу, чтобы ты извинилась за меня перед мамой. К сожалению, я не смогу вас встретить в аэропорту. Садитесь на такси и...

— А что такое, Энтони? Случилось что-нибудь серьезное?

— Да. Очень. Это долгий разговор. Постараюсь покороче. Сегодня вечером я должен участвовать в пресс-конференции вместо погибшего футуролога Роберта Борка.

— Как? По радио передали, что его убили возмущенные демонстранты. А ты тут при чем?

— Видишь ли, я был устройтелем этого космического телемоста с Филофеем.

— С Филофеем? С тем самым?

— Да. С ним должен был выступать Роберт Борк.

— Ничего не понимаю, Энтони! Ничего!

— Я потом все расскажу. Обстоятельства сложились так, что собеседником Филофея теперь придется быть мне; я потом объясню тебе и маме, но другого выхода нет...

Кэтти понизила голос, и он понял, что она прикрыла ладонью телефонную трубку:

— Хорошо, Энтони. Потом расскажешь. Пока я не буду ничего говорить маме. Она очень взволнована, негодует — какой-то безумец в космосе взбудоражил весь мир. И я не в восторге.

— Я ее понимаю и тебя понимаю, — ответил Энтони. — Но умоляю, сделай так, Кэтти, чтобы она не волновалась понапрасну. А потом я все подробно объясню. Я тебя очень жду, Кэтти. Я тебя люблю. Садитесь в аэропорту на такси и скорей приезжайте. Как только завершится пресс-конференция, я буду звонить, и мы встретимся. Не задерживайтесь, не опоздайте на самолет. Пока, целую.

— Пока, Энтони. Пока... Хочу, чтобы у тебя все было хорошо... Я с тобой.

— И я с тобой. Жду...

Сидя на сцене, Энтони Юнгер подумал о том, что самолет, в котором летела из Ирландии Кэтти с матерью, пожалуй, уже приближается к Атлантическому побережью.

А в зале тем временем истекали считанные секунды до начала трансляции космического телемоста. И явится на суд некто Филофей, вовлекший человечество в глобальную смуту. И за все ответит, за все ему отольется.

В который раз в тот день пронзала Энтони Юнгера мгновенная мысль: «А что, если вдруг и у нас в семье случится такое несчастье — у Кэтти появится знак Кассандры? Что тогда? Как тогда быть? Ведь никто не составляет исключения, абсолютно никто. Никто не застрахован оттого, что в его геноме таится страх перед жизнью».

При том, что зал напряженно ждал включения космоса, многие вздрогнули от неожиданности, когда прозвучал сигнал и экран засветился. Наступила мертвая тишина. Ведущий заторопился, обращаясь к публике:

— Итак, мы начинаем трансляцию пресс-конференции находящегося на орбитальной станции ученого-биолога, именующего себя космическим монахом Филофеем. Не буду напоминать всем известные факты — чрезвычайного характера обращение Филофея к папе римскому и трагические события, последовавшие вслед за этим. А сейчас прошу внимания...

На экране несколько раз мелькнул размытый контур, заплутавшийся в мерцающей пурге эфира, затем изображение стало четче, и на экране возник лик человека, уже всем известного, но впервые представшего воочию перед взором телезрителей. И тут же, еще не успев никто обмолвиться ни единым словом, заработали разом сорвавшиеся с места фоторепортеры, расхватывая образ Филофея с экрана.

Уолтер Шермет вынужден был запротестовать, загораживаясь от шквала вспышек:

— Прошу соблюдать порядок. Прекратите слепить нас. Мы начинаем работу.

Когда вспышек поуменьшилось, лик Филофея укрупнился, приблизился из космоса живыми чертами. То был шоковый момент. Так вот он собственной персоной, то ли великий пророк, то ли великий безумец, то ли сатана высшей пробы! Вот он — виновник истерии и несчастий! Вот он, облучающий женщин из космоса зондаж-лучами! Вот он, автор зловещего учения о знаке Кассандры!

На вид Филофею было лет пятьдесят с небольшим. С продолговатым лицом, с русыми волосами, свисавшими до сутулых плеч. И борода рыжеватого оттенка, с проседью. Он смотрел с экрана в зал, в лица присутствующих, как повстречавшийся вдруг на дороге путник, куда-то идущий с котомкой и посохом, приостановившийся уточнить, туда ли он держит путь, куда ему следовало. И вечерет уже, поспеет ли? Во взгляде — озабоченное внимание и целеустремленность. Примерно таким и представлял его себе Энтони Юнгер и в душе даже порадовался совпадению. Старинногравюрный, если можно так выразиться, облик космического монаха тем не менее вполне вязался с интерьером орбитальной станции. Держался Филофей уверенно и деловито. Возможно, способствовала этому колоссальная удаленность его от Земли и дело, которому он отдавался в абсолютном уединении всецело. Глубокие морщины, тяжелые веки, пристально смотрящие серые глаза таили в себе нечто притягательное и скорбное.

В первые секунды трансляции Энтони Юнгер очень волновался еще и за то, насколько хорошо говорит Филофей по-английски. Ведь нередко человек может грамотно писать на иностранном языке, но не столь же свободно говорить, особенно на публике. Однако с первых же фраз Филофея Энтони успокоился — на английском космический монах российского происхождения говорил вполне нормально, лишь с легким акцентом.

А разговор начался стремительно, как только Уолтер Шермет с наигранной раскованностью и даже жеманством произнес:

— Добрый вечер, брат Филофей! Извините, мы не знаем, так ли следует обращаться к вам?

— Да, так, — отвечал космический монах и добавил: — Всякому, кому угодно будет, я брат.

— А если не всем угодно будет брататься? — сострил Уолтер Шермет.

— Тогда кому как заблагорассудится. Не беда. Но и для тех, кто меня не приемлет, я в душе своей брат.

— Почему вы говорите об этом столь самоуверенно? Не хотите ли тем самым возвыситься над греховным миром нашим?

— Мое призвание — сострадать каждому, как бы ко мне ни относились.

— Допустим. Ну, хорошо. Не будем, однако, начинать нашу встречу с выяснения взаимоотношений в этом плане, — продолжал остроумничать Уолтер Шермет. — Есть вещи куда как серьезней и, как вы, наверное, понимаете, куда как страшней, причем находящиеся в прямой связи с вами, брат Филофей, с вашей, так сказать, научной деятельностью на борту орбитальной станции. Поэтому, собственно, мы и собрались на пресс-конференцию. Да, но для начала я представлю вам публику. В зале — цвет журналистики. Идет прямая телетрансляция. Я ведущий, Уолтер Шермет. Рядом со мной — Энтони Юнгер. Он участвует в телемосте вместо футуролога Роберта Борка, погибшего сегодня утром в результате массовых волнений. Извините, приходится называть вещи своими именами: причиной этих трагических событий явились именно вы. Впрочем, Энтони Юнгер сам представится и выскажет свое мнение.

— Спасибо, Уолтер Шермет. Я знаю Энтони Юнгера, — перебил его Филофей, устремляя взгляд в сторону Юнгера. — Я знаю Энтони Юнгера по предвыборному митингу, трансляцию которого видел. Поскольку я нечаянно перебил вас, позвольте мне сказать, я ждал этой минуты, этой встречи, возможности сказать о том, о чем вы уже упомянули, — как достигает меня в космосе пламя пожара, возгоревшегося в умах и душах. Да, огонь тот запалил я сам. Да, это так. Но факел я выносил не для сожжения еретиков на кострах, а, полагал, для просвещения душ людских. Не получилось. Все обернулось тьмой. И боюсь, безнадежно. А я надеялся, быть может, наивно в моем-то возрасте, конечно, наивно, что правда восторжествует. Ошибся. Вместо просветления душ повсюду вызвал лишь хаос и смуту. Все это я вижу на экране своего телевизора. Видел я и то, что произошло сегодня в Ньюбери. Я ожидал телевизионной встречи с Робертом Борком, был предупрежден о ней, горел душой перемолвиться с ним словом, но увидел дикую расправу с человеком в его собственном доме. Тот самый бунт, о коем русские говорят — бессмысленный и беспощадный. И опять же — по моей вине! Находясь в космосе, я оказался прямой причиной гибели моего же, Богом посланного мне единомышленника. Я на коленях перед вами, люди! Но сейчас мое покаяние ничто. Ничем не вернуть убиенного Роберта Борка, даже ценой собственной жизни, которую я готов немедленно принести в жертву. Если бы...

И вот что я еще хочу сказать, прежде чем отвечать на ваши вопросы. Возможно, я не успею ответить на все вопросы зала, заранее прошу прощения. Мне уходить, вам жить, а жить — значит, самим находить ответы. Поймите меня и простите, если можете. Единственное, что мне хотелось бы сказать напоследок: не ради громкой славы, не ради амбиций и не для превосходства над себе подобными сделал я общим достоянием свои открытия, которые могли бы оставаться втуне, и мир наш пребывал был в счастливом неведении, как и до этого. Но не для того ли мы сотворены как смысл и содержание вечности, чтобы через постоянно совершенствующееся познание наше открывался нам мир, а иначе к чему быть мирозданию, с какой целью быть вечности, если она будет оставаться не востребованной и не осознанной нами, по слабости и по прихоти нашей уклоняющимися от истины, когда это нам удобно? Не снижаем ли мы статус разумных существ — ведь боги без нас не боги, материя без нас пуста. И если мы утверждаем, что информация — путь прогресса, то не в непрерывающемся ли потоке все новой и новой всеохватывающей информации суть вечности? Бесконечность цивилизации — в бесконечности познания. Но когда мы избегаем познания в угоду себе, то есть вопреки истине, не избегаем ли мы тем самым столь желанной нам вечности?

Я прошу прощения у присутствующих за абстрактные рассуждения по поводу, казалось бы, абсолютно конкретных обстоятельств, но сегодня, когда мы убили Роберта Борка, мы убили с ним часть нашей вечности. Простите меня, я хочу...

— Позвольте, позвольте, брат Филофей! — перебил его с трудом сдерживавший себя Уолтер Шермет. — Рассуждения о высоких материях, разумеется, хороши, философия вечности любопытна. Но ведь вы вмешались в таинство рождения, — я имею в виду ваши космические эксперименты, провоцирующие появление знака Кассандры у зачавших женщин. Вы оказываете недопустимое давление на наше Эго. Вы стремитесь поставить нас под свой космический контроль. А с этим, позвольте вам напомнить, мало кто готов на Земле примириться! Я напоминаю — на Земле, на грешной нашей Земле, и не судите обо всем с космической высоты, где вы не досягаемы для возмущенных людей. Совершенно справедливо возмущенных. Извините, что я обнажаю свою позицию. Но в данном случае не до условностей, не до этикета ведущего. И я не могу не выразить протеста против ваших деяний. Кто вам позволил, какая сила толкнула вас, какими бы благими намерениями вы ни руководствовались, ввергать жителей планеты в массовую смуту ради своих научных открытий, а я бы сказал, ради гордыни своей?! Не есть ли это святотатство, особенно если вы монах, пусть даже самозванный, как утверждают российские иерархи. Не идете ли вы против Божественных установлений?! Сказано в Писании — плодитесь и размножайтесь. И без всяких оговорок. А вы решили подвергнуть ревизии то, что не подлежит контролю кого бы то ни было. Не принесли ли вы таинство рождения в жертву адским силам? На мой взгляд, это именно так! И если мистер Ордок говорил об этом как политик, то я скажу как журналист, дорожащий мнением многомиллионной аудитории.

И тут поднялся шум в зале. Это было странное, диковинное зрелище: журналисты вскакивали с мест, рвались к микрофонам, размахивали руками так, как будто перед ними не телеизображение, передаваемое из космоса, а сам Филофей на сцене. А он слушал их на экране, сжав губы и прищурившись, стараясь сохранять спокойствие.

Было видно, как лицо его свела судорога боли. И вряд ли эту встречу можно было называть пресс-конференцией. По разгулу страстей она ничем не отличалась от митинга. Каждый дорвавшийся до микрофона лишь называл себя, свою газету, информационное агентство и тут же требовал космического монаха к ответу. И никаких философий, практика жизни превыше всего! Филофею не давали рта раскрыть. Должно быть, ему стало дурно. Он вдруг исчез с экрана. В зале поднялся реперолох. Экран пустовал.

— Где вы? Что с вами? — вскричал Уолтер Шермет.

Но вот он снова возник, держа в руках космонавтский скафандр.

Голоса в зале на мгновение стихли. Все были удивлены — к чему это? А Филофей стал молча облачаться в скафандр. Энтони Юнгер воспользовался этой паузой. Он поднялся с места и стал говорить, обращаясь к залу:

— Я прошу присутствующих выслушать меня, поскольку я один из устроителей этого телемоста. И у меня в этой связи есть свои обязанности и права. Прежде всего хочу сказать Уолтеру Шермету, что дальнейшее ведение пресс-конференции я просил бы уступить мне. Вы свое сказали, Уолтер Шермет. А то, что происходит в зале, мало чем похоже, к сожалению, на деловую журналистскую встречу. Пресс-конференция предполагает вопросы и ответы. Пока что профессиональных вопросов не последовало. Эмоции затмевают логику. Мне не раз приходилось принимать участие в пресс-конференциях, но такого еще не бывало! Даже когда разразилась недавняя война в Персидском заливе, вопросы были разноречивы и выражали разные позиции. А сейчас каждый пытается прозвучать в унисон, непременно в хоре. И все дружно подписывают один и тот же приговор.

— Позвольте, Энтони Юнгер, — не утерпел Уолтер Шермет, — но почему вы в таком случае пытаетесь навязать аудитории, да что там аудитории — всему миру свои мысли? И почему в то же время лишаете права выразить свою точку зрения других участников встречи?!

— Уважаемый Уолтер Шермет, я понимаю, ситуация такова, что можно в мгновение ока нажать громадный политический капитал, засвидетельствовав по телевидению свою преданность народным

массам, выступив защитником общества, не так ли? Но истина от этого не прояснится. Не тот случай. И потому я призываю отрешиться, пока не поздно, от политики, от соблазнов ее, да, отойти, если это нам удастся, от любимой нашей политики в какой бы то ни было ее форме, иначе мы не приблизимся к существу проблемы. Постигание истины требует мужества и реализма.

— А в чем же ваша истина и ваше мужество? — выкрикнул кто-то из зала.

Уолтер Шермет удовлетворенно кивнул головой, вызывающе заулыбался. Зал насторожился, примолк.

— Насчет мужества, — произнес с расстановкой Энтони Юнгер в наступившей тишине, — не мне судить, насколько я обладаю им. Но обратимся к делу. Вот перед нами на экране человек, совершивший великое научное открытие, беспрецедентное в истории, я бы даже так сказал. По душе оно нам или нет — это вопрос другой. Это наука. Брат Филофей — а для меня он отец, отец Филофей, — пытается раскрыть нам глаза на значение проблемы кассандро-эмбрионов для человечества. Еще один наш выдающийся современник, погибший сегодня от рук толпы, футуролог Роберт Борк, расценил открытие Филофея как новый шаг в эволюции человеческого духа. Он выступил в печати. И это явилось его последним словом, его заветом. Я не претендую на собственные оригинальные оценки и выводы, но я хотел бы сказать: мы не должны игнорировать проблему кассандро-эмбрионов, исходя из своих сиюминутных интересов. Вот о чем идет речь. И теперь зададимся вопросом к себе и по понятным причинам к самому отцу Филофею. Как быть отныне человеку перед лицом ставших известными людям кассандро-эмбрионов?

— Мистер Юнгер, — раздался в рядах женский голос. — Простите, не очень ли вы энергичны в постановке вопроса? О каком лице, тем более эмбриональном, может идти речь? Вы желали профессиональных вопросов. Так вот, ответьте для прессы, для миллионов читателей и телезрителей, которых вы продолжаете ввергать в шок и отчаяние, хотелось бы услышать ясно и недвусмысленно, что вас понуждает в конце-то концов, почему вы с Филофеем так стремитесь навязать обществу эту роковую проблему, когда вас об этом никто не просит, ни одна душа?

— Вот именно просит, мадам. И не то что не одна, — просят души, не поддающиеся счету. Голоса зародившихся апеллируют к нам, просят всех нас услышать их и подумать не столько о них, сколько о нас самих; а мы избегаем ответа им и ответа себе, мы малодушничаем, тем более что отмахнуться от этих несчастных эмбрионов очень легко, пусть ценой самообмана, и в этом мы все повинны, включая и нас с вами, мадам, и предшествующие поколения наши. Эти голоса, повторяю, обращенные ко всем нам, нуждаются в том, чтобы их расслышали, распознали, интерпретировали, что и сумел сделать великий Филофей. Я вынужден говорить о его величии в его присутствии, вот он перед нами на экране, но другого выхода у меня нет. Да, он великий. Вот вы настаиваете, чтобы я объяснил, что, как вы выразились, понуждает нас навязывать обществу эту роковую проблему. Разве, скажем, Эйнштейн в принудительном порядке вынужден был открыть теорию относительности? Так же и Филофей — это ученый, это наука, это призвание, это дар провиденья, это опыты и открытия, это работа ума. Я так понимаю. Такому открытию нельзя сопротивляться, как нельзя сопротивляться выходу солнца из-за горы. Нам, людям, обществу надо определиться — вот о чем речь... Мы должны сказать себе... Человечеству отныне нужна новая стратегия жизни...

В этот момент Уолтер Шермет резко поднял трубку телефона, стоящего на столе перед ним, и коротко бросил кому-то:

— Коммутатор, вы готовы? — и, не кладя трубку, нервно обратился к Энтони Юнгеру: — Вы хотите услышать ответ международной общественности на вашу с Филофеем риторичку? Вы хотите убедиться?

— Что вы имеете в виду?

— То, что наша пресс-конференция демонстрируется на площадях городов в разных концах мира. Ведется синхронный перевод. Так давайте сообща все находящиеся здесь посмотрим, что происходит на планете, какова реакция масс на суждения монаха Филофея и его сторонников. Еще раз напоминаю — разные точки мира, разное время суток, разные языки. Итак, внимание! — скомандовал он в телефонную трубку. — Включайте центральный монитор. Итак, дайте нам для начала Тяньаньмэнь, посмотрим, что делается в Пекине, столице самого многонаселенного государства.

На большом экране, засветившемся в центре сцены, возникла многолюдная площадь Тяньаньмэнь с промелькнувшим на фасаде неизменным портретом Мао Цзэдуна с каменным выражением лица, в сером кителе вождя. Страшное столпотворение на площади под каменным взглядом Мао напоминало бушующий людской океан. Китайцы неистовствовали и орали, как на пожаре. Комментатор сообщал, что такое на площади было только в 1989 году, при подавлении студенческих волнений. «Слушайте единый выкрик Тяньаньмэня, — продолжал комментатор. — Цитирую: «Смерть Филофею! Сбить врага социализма ракетой!»

Зал глядел на Филофея, на бледность, проступавшую на его лице, различимую даже с экрана, на застывшего в напряжении у микрофона Энтони Юнгера, на Уолтера Шермета, который давал команды:

— А теперь — Москву, Красную площадь! Внимание!

То же самое происходило и на Красной площади. Предраассветное время. Горели костры. И ревели толпы: «Смерть самозваному Филофею! Сбить провокатора ракетой!» И странно было заметить над этой возбужденной, гомонящей толпой несколько раз промелькнувшую на экране, на что все невольно обратили внимание, ночную птицу, очень похожую на сову. Птица эта, точно она была на невидимой привязи, дергалась, металась в сумраке над мавзолеем, над Кремлевской стеной и снова над толпами орущих людей...

Не теряя темпа, Уолтер Шермет давал новые команды на включение трансляции с других точек земного шара: Берлин, Варшава, Монреаль, Рио-де-Жанейро, и везде царила та же стихия, раздавались те же вопли и выкрики, и всюду выносился тот же приговор: «Смерть Филофею!», «Сбить мерзавца ракетой!»

— Достаточно! Я прошу выслушать меня! — раздался с левого экрана голос Филофея.

— Да, мы слушаем вас, брат Филофей, — живо откликнулся, опять же не без ужимки и наигранной раскованности, Уолтер Шермет. Лысина его победно блеснула, когда он произнес, приосанившись: — Что вы скажете теперь, увидев демократию в действии?

— То, что собирался сказать и до этого, — ответил Филофей. И ясно стало по выражению его лица, что он на грани, что он на что-то решился. — Я вам признателен, мистер Уолтер Шермет, за то, что вы устроили репортаж с разных концов мира. Сомневаться после этого никак не приходится. Картина абсолютно ясна — я потерпел полный провал. Моей задачей было привлечь внимание человечества на возможность избежать катастрофы и, более того, на возможность нового витка в эволюции. Путь один — прислушаться к эсхатологическим сигналам кассандро-эмбрионов и сделать выводы о необходимости совершенствования общества в целом и каждого из нас в частности. И вот результат — из моей попытки ничего не вышло. Отношение современников к моим призывам — в корне отрицательное. Признаю — я потерпел поражение. И нет нужды продолжать дискуссию. Все. Пора подводить черту.

— Брат Филофей, вот теперь вы учитываете объективную обстановку, об этом и идет речь: нужно успокоить людей, успокоить общественность, не так ли? — подсказал Уолтер Шермет.

— Да, получается так, — согласился Филофей. — И поскольку я виноват в неслыханной смуте, приведшей к гибели Роберта Борка, то мне и ответ держать перед Богом и перед людьми. И вот час тот пробил — час суда за содеянное. И я рад, что в этот роковой для меня час у меня есть возможность быть на глазах у людей и они могут убедиться в искренности моей исповеди.

— Брат Филофей, — встрял опять тот же Уолтер Шермет, понимая, что он на виду у всего мира и за каждое слово ему воздается сторицей. — Брат Филофей, — повторил он, — мы не требуем лично от вас каких-либо действий. Эмоции масс, конечно, остры, но вы вынудили людей...

— Да, да, я понимаю, — ответил Филофей. — Спасибо на добром слове. Но поступок мой не из числа заурядных недоразумений. И я должен за него отвечать. Я сознавал, что или достигну цели, если мир воспримет мое открытие, мои идеи как новое самопостижение духа, или потерплю сокрушительное поражение и стану жертвой собственного открытия, погибну под его обломками. Иного не дано. Я знал, на что иду. И вот мое заключительное слово. Я далек был от какого-либо умысла причинить людям вред. Но на деле все обернулось по-иному. Замысел обернулся во зло. И все мы сейчас — бессильны перед ним. Однако я не отрекаюсь от самого открытия, от феномена кассандро-эмбрионов, от их эсхатологических предвестий; люди должны знать, что конец света — в непрерывном накоплении зла в нас самих, в наших деяниях и мыслях, и это сказывается на генетическом коде человека, приближая кризис. И будет поздно, когда грянет гром...

Зал зашумел. Раздались возмущенные голоса. Один из присутствующих начал яростно кричать в микрофон:

— Прекратите угрозы! Я требую прекратить немедленно шантаж общества! И я заявляю во всеуслышание — мы имеем дело с демоном, рассчитывающим на космическое диктаторство над человечеством. Да, да, диктаторам прошлого лишь мерещилось такое всеислие, они лишь мечтали о всемирном господстве, тот же Гитлер, тот же Сталин. Те приходили и уходили в потоках крови. А этот рвется к мировому господству через шантаж из космоса. Сейчас он не доступен народному гневу. И, пользуясь этим, помыкает человечеством!

Энтони Юнгер не выдержал и тоже кинулся к микрофону:

— Мистер, я не знаю, кто вы, надо хотя бы представиться залу, прежде чем кричать в микрофон.

— Мое имя самое обычное — Смит, Джон Смит.

— Так вот, Джон Смит! Намеренно или нет, но вы извращаете суть дела. Никто не попирает вашу свободу и права. Вы вправе жить так, как вам заблагорассудится. Но ученый, совершивший открытие, величайшее научное открытие в истории человечества, не может и не должен только ради того, чтобы не лишать вас душевного комфорта, скрывать от общества результаты своих научных исследований. Можно заставить Филофея отречься от истины, от себя, но факт остается фактом — кассандро-эмбрионы существуют. Знак Кассандры отныне будет неизбежным сигналом о таящемся в нас зле. И мы не должны обманывать себя, не должны скрывать от себя реальное положение вещей. Напротив, я считаю, что мы должны — как бы это точнее сформулировать, — вот существует такое понятие в военном деле — вызывать огонь на себя...

— Послушайте! Как вы смеете предлагать подобное — вызывать огонь на себя?! На кого вызывать огонь? Получается — на женщин, — разнесся на весь зал женский вопль. — В вас говорит мужской эгоизм! Кто позволил мужчинам решать за женщин? Проклятый патриархат и здесь дает о себе знать! Я не хочу вызывать огонь на себя! Я не хочу, чтобы у меня на лбу выступил знак Кассандры, это гадость и позор!

— Извините! — раздался с экрана голос Филофея. — Извините, ради Бога, не хотел бы вас перебивать, но не могу не сказать, что знак Кассандры — не порок и не позор. Совсем нет. Я уже объяснял, что это реакция кассандро-эмбриона, предупреждающая нас о зле, накапливаемом в нас

из поколения в поколение. Конец света таится в нас самих — вот о чем дает нам знать это тавро. Прошу вас, успокойтесь. И прошу всех, кто в эту минуту внимает мне, позвольте сказать последнее, прощальное слово. Все, что я увидел и услышал за последние сутки, говорит о том, что открытие мое оказалось явно преждевременным, оно оказалось не понятым моими современниками. И поэтому я принял твердое решение исчезнуть, уйти из жизни, уйти с миром и добром, благо я могу это сделать в космосе, никем не удерживаемый. И в эти последние минуты я хочу повиниться перед всеми, кто меня слышит, видит или узнает обо мне позднее. Я причинил вам страдания, хотя исходил из самых чистых побуждений. И вот мой конец. Я сейчас выйду в открытый космос и на том завершу свой жизненный путь. Это судьба. Я уже готов к этому шагу, мне остается лишь надеть шлем. Но перед тем, как покинуть свою космическую обитель, куда я стремился, ведомый предначертаниями моего Пушкина: «Туда б, в заоблачную келью, в соседство Бога скрыться мне», — так вот перед этим последним шагом я хочу заверить всех, кто меня видит и слышит, что все оборудование, с помощью которого велось направленное облучение планеты зондаж-лучами, мною уничтожено, ликвидировано. Уничтожены расчеты и разработки, уничтожены все записи, связанные с исследованиями, всё, что было связано с открытием феномена тавра Кассандры. Всё это исчезает, уходит вместе со мной. Будьте впредь спокойны, всего этого как не было никогда. Возможно, человеческая мысль когда-нибудь вновь обратится к этим явлениям, но это будет уже после нас, это дело будущего. А пока все вернется на круги своя. Никаких следов. Единственное, что может попасться на глаза, если кто-нибудь будет осматривать после меня орбитальную станцию, — это мои записи о своей жизни, мемуары космического монаха о судьбе, о времени, о том, как и почему открылась мне тайна кассандро-эмбрионов. Это единственное, что я оставлю после себя. И если, сын мой Энтони Юнгер, тебе это придется по душе, я с радостью завещаю эти записи тебе.

Дорогой Энтони, прости, что обращаюсь к тебе как к сыну, но это зов души. И я благодарен судьбе, что могу прилюдно так обратиться к тебе. Жизнь моя сложилась так, что я остался бездетным, и вот напоследок, в последние секунды, я буду думать, что у меня есть духовный сын — Энтони Юнгер.

Зал примолк. И снова раздался голос Филофея:

— Простите меня, люди! Всего не скажешь на прощание. Но об одном не могу умолчать уходя. Меня то и дело называли самозванным монахом, самозванным Филофеем. Да, это так. Никто не постригал меня в монашество, никто не нарекал меня Филофеем. Но ведь суть не в церковной процедуре, суть в истовости веры в идею. И я хочу быть в этом правильно понятым.

Час настал. Я прощаюсь с вами. Я прощаюсь с планетой нашей. Я ее вижу всю целиком на одном из экранов, целиком, плывущую во вселенском пространстве, на другом экране — отдельные укрупненные пейзажи, до мельчайших подробностей: деревья, травы, камни. И вот — что-то странное, что-то не совсем пока понятное, какое-то невыносимое зрелище. Вы и сами в этом убедитесь, если технически возможно транслировать изображение с орбитального монитора на земные. Смотрите, смотрите, вот экран рядом со мной, справа от меня. Смотрите, на нем море, это океанское побережье. Атлантическое! Смотрите, какие могучие волны катятся по мелководью на береговой откос, и вы видите, что происходит?! Вы видите китов?! Вот они, их целое стадо! Они выплывают из океана, как горы, и смотрите, о ужас, о наказание небес, киты с разгона выбрасываются на берег! Смотрите, что с ними происходит! Это киты-самоубийцы! Что с ними? Почему они выбрасываются из воды?! Почему они решили покончить с собой?! Что это значит? Что заставляет их так поступать? Что-то неладное, что-то невыносимое гонит их на погибель! Или это совпадение последних помыслов наших? В один день и час! Кажется, я начинаю понимать, начинаю улавливать, что движет китами, обрекающими себя на смерть. Жаль, что не сумею глубже проникнуть в суть этого явления, нет уже времени, чтобы постичь эту потрясающую загадку жизни. Вот так же было и с Робертом Борком. Я начал понимать глубину его мышления, прочтя его статью. Но за написанным таилось еще что-то, недосказанное. Я ждал, что мы откроемся друг другу, и явится нам новое понимание Духа. Но не успели, не суждено, оказалось. Так и с китами. Обладай они речью, сколько бы мы познали... Но мне уже поздно... Мне кажется, я слышу их. Киты зовут меня с собой. И я ухожу с китами... Я тоже кит, убивающий себя, выбрасываясь на берег. И последнее — обращаюсь к Роберту Борку. Я виновен перед тобой, и я иду к тебе вместе с китами... Прощайте...

Все, что последовало затем с неотвратимой наглядностью, подействовало на зрителей ошеломляюще. Филофей уходил из жизни на виду у всего мира, у всех, кто в тот момент находился у телеэкранов. Каждое движение космического монаха подтверждало его решимость. Все понимали — они присутствуют при публичном самоубийстве. И никто не мог ни предотвратить того, что было Филофеем задумано, ни окликнуть его на пороге...

В зале воцарилась напряженнейшая тишина. Никто не шевельнулся, никто не подал голоса. Все взоры были пригвождены к экрану, на котором протекали последние мгновения жизни космического монаха. Энтони Юнгер вдруг понял, что свобода смерти есть исполинская трагедия духа, ничем не компенсируемая, ничем не измеримая. Тем временем Филофей надел на голову громоздкий космический шлем. Было видно, как он пристегнул его к вороту комбинезона. И с этой минуты выражение лица его стало неразличимо. Все было готово. Предстояло идти к выходу за борт. Филофей оглянулся, возможно, что-то сказал, но слов уже было не слышно. Прощально махнув рукой, он направился к люку, чтобы выброситься в открытый космос. Створки люка раздвинулись, и Филофей шагнул в пустоту.

Он шагнул в межзвездное пространство, очутившись один на один с бесконечностью, где не было ни верха, ни низа, ни сторон, ни горизонта, ни границ, ни измерений.

Он завис в парении и поплыл в никуда, все дальше и дальше от космического корабля...

Он плыл, зависая в невесомости, и вскоре исчез из поля зрения...

Глава одиннадцатая

Киты, выбросившиеся на берег, издыхали на мелководье мучительно и страшно, тараша выпученные глаза. Их туши валялись в разных местах, как обуглившиеся от пожара горы.

И кружила Земля вокруг Солнца...

На другое утро все газеты мира выкрикнули в один голос на первых полосах: «Первый акт самоубийства в космосе!», «Космический монах Филофей освободил человечество от тяжелых испытаний знаком Кассандры!», «Царство ему Небесное!», и еще многое в этом же сенсационном духе пронеслось по газетам, телеэкранам и радиоканалам...

В «Трибюн» было опубликовано несколько экстренных строк от Энтони Юнгера: «Отцы мои, Филофей и Роберт Борк, проложили след, по которому я пойду дальше...»

Но были и злорадно торжествующие выкрики: «Самозваному монаху не требуется Вознесения в Небеси. Он уже в космосе кверху пузом!»

Среди прочих ошеломительных новостей снова, уже в который раз, появилось загадочное сообщение: «На Западном побережье Атлантики большое стадо китов выбросилось из океана на материк. Все животные погибли».

Еще одно сообщение, странное, нелепое, было перепечатано из российских газет: «Минувшей ночью на Красной площади неизвестным лицом была заброшена на мавзолей мертвая птица — сова. Взрывного устройства при ней не обнаружено».

Два дня спустя состоялись похороны Роберта Борка. На кладбище было покойно. Осень. Чистое небо. В минуты прощальной молитвы Энтони Юнгер глянул ввысь и подумал о том, что оба они, выбравшие путь истины, заняли предначертанные им места: один — в космических пространствах, в потоках бесконечности, другой — в недрах земли, в сгустке вечности...

И с ними Истина...

Эпилог

«Время у меня на бикфордовом шнуре. И я спешу набрать на компьютере свое прощальное письмо. И вот поразительно, мне выдалось напоследок: я вижу сейчас, как на Земле световой день сменяется затемнением ночи, чтобы затем смениться заново рожденным днем. Вот оно наглядное течение вечности, вот она зримая нескончаемость Времени. Но для созерцающего с орбиты субъекта настал предел.

В масштабах Вселенной век человека — это век мухи. Но человек одарен мышлением, и это удлиняет его жизнь. Но бывает и наоборот — резко сокращает. Сколько раз я безотчетно наблюдал таинство смены дня и ночи, не предполагая, что сам же и поставлю для себя на этом последнюю точку. Потому что настал мой Судный день, конечный день в моей многогрешной жизни. И Судный день уйдет вместе со мной, как и все, что связано с жизнью любого человека. Я сам определил себе Судный день, и в том моя горькая привилегия и обреченность.

После того, как я допишу эти строки, я выступлю, если удастся, на космической пресс-конференции. А потом я должен буду свести счеты с жизнью, покончить с собой. Таков мой приговор себе. Я разрушил самосознание общества. Я ненавидим миллионами людей. Я повинен в смерти Роберта Борка. Я в тупике. Я должен исчезнуть, перестать существовать. Иного исхода нет.

И хотя говорят, что перед смертью не надышишься, мне требуется досказать, договорить напоследок. Казалось бы, не все ли равно всеми проклятому на Земле, что станет с опостылевшим миром? Казалось бы, трава не расти! Пусть все катится в тартарары! Но я и на пороге уготованной себе смерти не могу скрыть своей тревоги: что станет с людьми, как откликнется завтра в умах и душах людских история с тавром Кассандры? Ведь, что бы то ни было, истина, преданная анафеме, не перестает быть истиной. Сегодня отвергнутая проблема завтра возникнет вновь, и никуда от этого не деться.

Судный день мой настал. Он был неотвратим. Обратного пути мне нет. Я оставляю вам, люди, свою исповедь. Из нее вам откроется, кто я, назвавший себя впоследствии космическим монахом, откуда я родом, как прожил годы жизни, чем занимался, как далось мне роковое открытие тавра Кассандры...

Прощаясь, скажу еще. Самые неожиданные переживания и мысли посещали меня в космосе. Не знаю, чем это объяснить. Всякий раз, глядя из космоса на Землю в поволоке облаков, думал я восхищенно: Боже, какое великое творение Земля! Ведь и Солнце, наверное, существует ради Земли, населенной людьми, а иначе к чему все это? Мир надобен человеку — оттого он и есть, чтобы человек его осознал, оттого он и существует. А иначе к чему вся эта галактика, какой смысл? Да и сам Бог!! Он надобен человеку — оттого он и Бог, оттого он и есть! Но заслуживает ли человек этих мировых начал? Этого грандиозного мироустройства? Вот загадка Вселенной!

Ну, мне пора. Осталось совсем немного. Скоро я выброшусь, выпрыгну из станции в открытое пространство. Далеко от Земли. Очень далеко. И смолкну.

Простите меня.
Филофей».

Письмо Филофея и текст его Исповеди на русском языке были переданы с борта бывшей обители космического монаха в первые же дни после прибытия туда команды астронавтов. В оперативном донесении командира корабля сообщалось, что в памяти персонального компьютера сохранилось оставленное Филофеем завещание, где он, обращаясь к будущему персоналу космической станции, просил передать хранившуюся в компьютере его Исповедь в распоряжение Энтони Юнгера. «Энтони Юнгер вправе поступить с моими записями так, как сочтет нужным».

Текст был озаглавлен: «О пережитом, с тобой и после».

И далее говорилось:

«Никогда не предполагал прежде, что окажусь на орбитальной станции в космосе. Сюда привела меня наука. Но никто не знает, что в космос я отправился не только с научными целями, что я изгнанник, сам себя изгнавший за пределы Земли, сам себя объявивший впоследствии космическим монахом. Наверное, мне можно было бы назваться и «невозвращенцем», как в былые времена называли себя те, кто по политическим или каким-либо другим причинам отказывался вернуться из-за границы на родину, в Советский Союз, и тем самым бросал на виду у всего мира вызов властям великой державы.

Но нет, пожалуй, тут случай другой. Я не изгнанник и не невозвращенец, это трудно объяснимый уход в себя, уход в себя через космос. Интеграция духа с космосом, если на то пошло, хотя это, может быть, звучит и высокопарно. Но пребывание в космосе оказалось логическим завершением всей моей жизни, высшей и конечной точкой моего развития. Должно быть, в этом была своя необходимость, изначальное предопределение, судьба. Трудно поверить, что такое может быть, но чего не бывает на свете...

А зачиналась она, судьба моя, тоже не так, как у всех. Всю жизнь по этой причине старался я не затрагивать эту вечно отодвигаемую мною в тень тайну моего происхождения, точнее, рождения.

Я был подброшен младенцем, закутанным поверх одеяла в мешковину, на крыльцо детского дома. Отсюда моя фамилия — Крыльцов, которую мне придумали в детдоме. Назвали меня Андреем и отчество извлекли отсюда же — Андреевич. Крыльцов Андрей Андреевич. Произошло это печальное событие, как сказали мне, в конце 1942 года, в зимнее снежное раннее утро. Я то утро смутно помню, хотя никто, конечно, в это не поверит. Но что делать, я говорю так, как есть. А помню я жесткий скрип снега под ногами матери. Помню, как она быстро шла тем зимним утром. Помню, как она судорожно прижимала меня к груди, то и дело испуганно вздрагивая, и я слышал сквозь наши тела, как гулко и больно билось ее сердце. Она шумно дышала на ходу и все время что-то приговаривала торопливо, что-то шептала мне, какие-то слова, едва не плача и силясь сдержать слезы. В тот час, когда она несла меня, чтобы оставить на крыльце детского дома, я видел сквозь щель одеяльца ее лицо, глаза с ресницами, запорошенными снегом, и вверху серое небо, падавшие хлопья снега. Снег кружил. И возможно, она шептала мне: «А ты заплачь, громко заплачь, чтобы тебя быстрее услышали!»

Когда она положила меня на крыльце, я не сразу понял, к чему это. Мне было холодно, я мерз, и я ждал, что она вернется и возьмет меня на руки. Но она стояла в стороне, спрятавшись за кустами в сугробе, и не подходила. И тогда я заплакал, громко заплакал, и потом открылась дверь, кто-то подошел, поднял меня на руки и унес...

А почему я говорю о сугробе, — потому что это единственное, что мне рассказывали потом: мол, обнаружили следы матери в сугробах и больше нигде никаких следов...

Теперь я представляю, каково ей было там стоять, за кустами, и не подходить на зов своего брошенного дитяти... И часто снится мне один и тот же сон — вот иду я по глубоким сугробам, ищу ее следы, а следы уводят в темный лес, и жутко мне, холодно, снегом заносит. И кричу я: «Мама! Мама!» — и просыпаюсь...

Но что заставило мою мать в то страшное утро решиться на такой страшный поступок? Если бы знать! Кто был мой отец? Знала ли это она сама? И много еще подобных вопросов осталось для меня без ответа, загадкой на всю жизнь.

В детдоме никто со мной не заводил разговоров на эту тему, да и сам я не стремился, хотя подчас и хотелось поделиться с кем-нибудь своими переживаниями, но кроме того, что я помнил, как мать несла меня на руках в то снежное зимнее утро, сказать мне было нечего. Да и никто не поверил бы, что я что-то помню.

Была, однако, одна-единственная женщина на свете, которая почему-то склонна была выслушивать меня, не высказывая сомнений, — Валерия Валентиновна, или, как ее звали сослуживцы, Вава. Мы, дети, тоже звали ее Вава, тетя Вава, и в этом было нечто домашнее, родственное. И, конечно, тетя Вава была самой любимой нашей воспитательницей.

Наш детдом находился на окраине города Рузы, рядом с поселком Малеевка. Это примерно в ста километрах от Москвы. Детдом наш №157 был создан сразу же после отступления немецких войск из Подмосковья как приют для осиротевших детей прифронтовой полосы. Так вот Вава в то время работала по соседству, в Доме творчества композиторов, расположенном в Рузе, в лесопарке. Это был по сути питомник советских композиторов. Здесь, живя на казенном коште, каждый в персональном коттедже, композиторы разных краев и республик сочиняли музыку века — торжественные кантаты и хоралы, прославляющие самого величайшего вождя всех времен и отца народов товарища Сталина... Сюда иногда приезжали высокие партийные деятели на первое прослушивание произведений, посвященных этому человеку, ставшему из сына сапожника повелителем XX века. Иногда здесь устраивались и шефские концерты, куда допускались и мы, детдомовцы. Тетя Вава была администратором Дома творчества, но, впрочем, она и сама была неплохим пианистом. И это привело ее после войны в наш детский дом в качестве музыкального руководителя.

С осени сорок первого и до весны сорок второго в Рузе и ее окрестностях стояли немецкие танковые войска. Я к этим событиям, понятно, никакого отношения не имел, но между временем моего рождения и моей судьбой подкидыша была, видимо, какая-то связь, во всяком случае, я знаю, что тетя Вава над этим задумывалась и в разговорах со мной, уже подростком, бывало, на это намекала. Она сама пережила почти полугодовую немецкую оккупацию в Рузе и многое помнила. Когда мы оставались с ней одни в музыкальной комнате, она учила меня нотной грамоте, но, случалось, разговор наш выходил за пределы музыкальных штудий.

Вава, Вава! Хотел бы я иметь такую мать, незаметно стареющую на глазах, родимую, близкую душу. И вот что интересно, у меня никогда не было рядом матери, а у Вавы не было детей. Трудно сказать, почему так сложилась жизнь этой женщины, что помешало ей иметь ребенка. Не одиночество ли ее было причиной того, что она так прикипела к детям-сиротам?

— Андрюша, — говорила она мне, — ты, конечно, страдаешь оттого, что ты оказался подкидышем. Я тебя понимаю. Как об этом не думать. Но от таких мыслей не становится легче. Попробуй посмотри на себя со стороны. И ты увидишь другое. Если я не ошибаюсь, Бог дал тебе, Андрюша, большие способности. Честное слово! Вспомнишь как-нибудь мои слова. У тебя светлая голова, ты очень одаренный малый. Вот взять даже музыку, из тебя мог бы получиться хороший музыкант. Но кем быть, это ты уж сам решишь. Музыкой можешь заниматься для себя, а людям служить иными делами. Вот закончишь школу, пойдешь учиться дальше, сам будешь строить свою жизнь. И все дороги откроются перед тобой, Андрюша, с твоими-то дарованиями. И ничто тебе не помешает. Пусть ничего не известно о твоей матери, но ведь и кто твой отец, — тоже абсолютно не известно, и что именно толкнуло, что принудило твою мать отречься от собственного ребенка и исчезнуть, трудно сказать. Так вот, по-моему, ты не должен ее осуждать. Нет, нельзя ненавидеть мать, даже если она и виновата. Не сердись, если скажу: ты должен быть благодарен ей. Да! Тебе это кажется странным. Но подумай, Андрюша. Это от нее, от родителей твоих у тебя отличные способности, ты их перенял по наследству, получил от матери, от нее и через нее. Никто не знает, чего ей это стоило — бросить тебя. Раз уж она пошла на это, значит, иного выхода у нее не было. Это, наверно, была единственная возможность сохранить тебе жизнь. Почему, я не могу сказать. Не знаю. И никто не знает. Но то, что у матери твоей не было другого выхода, и только так могла она спасти тебя, в этом я убеждена. Да, риск был велик, но, как видишь, ты жив и здоров. Что-что, а детдома в нашей стране — не пустое дело. По себе можешь судить. И опять же от матери, через нее, ты и собою недурен, и ростом не обижен, и телом не слаб. Многое тебе дано от природы, значит, от матери. Мой тебе совет: исходи из того, что другого выхода у твоей матери не было. Вырастешь, еще многое поймешь.

С годами я приходил к выводу, что Вава имела в виду какие-то исключительные обстоятельства, нечто, не подлежащее открытому обсуждению. Трудно сказать, насколько она сама была в своих предположениях уверена. Через несколько лет, когда я учился уже в Москве, в университете, Вава умерла. И осталась со мной на всю жизнь одна нечаянная обмолвка Вавы, версия без каких-либо фактов, ее подтверждающих либо опровергающих.

Я учился уже в девятом классе, когда рядом с нами, в поселке Малеевка, случилось большое несчастье. Женщина и ее дочь семнадцати лет покончили с собой. Мать повесилась, и дочь сделала то же самое вслед за ней. Жили они одиноко. Мать работала уборщицей в композиторском Доме творчества, дочь училась, подрастала, но все знали, что родила эта женщина свою дочь спустя полгода после отступления немецких войск из Подмосковья, и ни для кого не было секретом, что родила она дочку от немецкого солдата, то есть от захватчика, от оккупанта, от фашиста и тому подобное. Соседи не давали ей житья, в школе девочке не было просвета... В тот день, потрясенная трагическим событием, Вава как-то странно обмолвилась, сама, быть может, того не заметив, но я болезненно запомнил ее слова: «Не могу в себя прийти, Наталья, — говорила она одной из воспитательниц. — Какой ужас! Какая лютая смерть! Мать и дочь накладывают на себя руки... До чего можно довести людей! И подумать только, за что?! Да, война войной, у нее свой счет. Воюют, убивают. Но сколько же можно злом исходить, унижать, тыкать в глаза?! Ну, случилось, ну, родила она, бедная, на свое горе от немца. Хлебнула лиха. Но за что же ей так мстить, какая дикость! А девчонка при чем?! В конце концов никто не выбирает себе отца, мать, у каждого — каких Бог послал. За что им не давали житья?! Да неужели лучше было бы, если бы бросила мать своего ребенка под дверь подкидышем, а сама бы исчезла с глаз долой, чтобы никогда о ней ни слуху ни духу, чтобы умереть заживо, чтобы провалиться, как в могилу, — только чтоб ее ребенок был, как все...»

С тех пор проклюнулась во мне мысль, как цыпленок из скорлупы в урочный час: а что, если и мой отец был как раз таким, что матери только и оставалось, что кинуть младенца под дверь и самой бежать поскорее прочь, навсегда, необратимо, навеки...

Я пытался представить себе, вообразить, как и при каких обстоятельствах могло случиться подобное. Всякое думалось, по-всякому гадалось. И было состояние пустоты, оторванности, брошенности. Должно быть, такое состояние испытывает человек, оставшийся за бортом корабля в море... Корабль исчезает, не откликаясь на зов, и никого вокруг, волны, море. И нет берегов... Но кто-то ведь скинул его в это море?! Кто?

Хотелось знать, хотелось ответить себе на этот вопрос, не пойму, для чего требовалось мне это знать, какой смысл был в этом. В самом деле, что бы это мне дало? Ничего. Но ужасно хотелось знать: если отцом моим действительно был немецкий солдат, то что с ним потом случилось? В голову вдруг приходила наивнейшая, нелепейшая мысль — а зачем ему надо было стать моим родителем, кто его просил об этом, кто просил его прошагать через всю Европу, чтобы зародить меня и кануть в неизвестность? Да, хочешь знать свое происхождение, хочешь, но не можешь, но продолжаешь думать. Хотелось знать, куда подевалась родившая меня мать. Да, хотелось знать, что постигло того немецкого солдата, отца моего, остался ли он жив или сложил голову; а вдруг он жив, здоров, пребывает где-то в Германии и ведать не ведает, что есть на свете у него сын, подкинутый в сорок втором году на крыльцо детского дома... Так это я его сын. А ему и дела нет... А вдруг узнает каким-то чудом и заявится?! Скажет, а вот и я, а где мой сын? И что тогда? Как быть дальше? Но к чему все эти фантазии? Даже если все это действительно было так, ему-то, этому немцу, зачем вся эта история, забытая, как плевок, ему-то зачем терзаться?..

Вот такие дикие, несусветные мысли роились во мне. Но о чем бы ни думалось в этой связи, перекрестком судеб людских непременно выступала война. И обнаруживалась трагедия детей, зачатых войной, родители которых сгинули в разверзшейся пропасти жизни. Холодом, отчуждением, отторжением, ненавистью веяло из той пропасти. И возникало в душе моей чувство внутреннего противостояния всему «нормальнорожденному», в отличие от меня, миру, хотелось доказать им, благополучно явившимся на свет, свое беспорное превосходство, хотелось, чтобы общество увидело

во мне необыкновенную личность, увидело во мне гения и вынуждено было признать мою гениальность, хотелось всегда быть готовым на силу ответить силой, на зло ответить злом...

С этим попутным ветром и выходил я в большую жизнь. Я всегда помнил, что я один, сам по себе в этом мире. У меня не было ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер, ни теток, ни племянников, ни двоюродных, ни троюродных — никого. Я был как бы свалившимся с луны. Возможно, это-то и помогло... Да, я сделал блестящую научную карьеру, я всецело посвятил себя науке, что позволило совершить гениальные — не буду скромничать — открытия на избранном мною поприще. Да, это так! Я служил науке, а наука служила мне, моей известности, моим амбициям, моему положению, моему конформизму...

И все это обернулось в итоге той судьбой, что привела меня в космос, на орбитальную станцию, где я самочинно объявил себя космическим монахом. Это стало, как ни парадоксально, моим безысходным апогеем. Не будет мне места на Земле, я это понял...

И только здесь, в космосе, я понял, что судьба предоставила мне уникальную возможность открыто описать прожитое и пережитое, приведшее к бегству в космос. И я сказал себе: ты обязан бестрепетно осознать все, что было, признаться во всем себе и другим. В этом суть исповеди — ни малейшей пощады себе. Сказать все, до конца.

А ведь начиналась вся эта история, казалось бы, с совсем малого — с семинара в медицинском институте, где я увлекся изучением чуда зачатия и таинства явления человека на свет, возможно, опять же движимый в подсознании комплексом подкидыша, хотя в повседневности я никогда ни с кем не обсуждал эту болезную для меня тему и, следует подчеркнуть, в окружении моем тоже никогда не возникало подобных разговоров.

Думаю, что для работающих со мной я был важен прежде всего как научный руководитель, как жесткий шеф, как непререкаемый авторитет, пользующийся неизменной поддержкой верхов. И что греха таить, я не чужд был того, что является, на мой взгляд, треклятой загадкой людского рода, не чужд был тщеславия и властолюбия. Я все время стремился утвердиться в своих и чужих глазах, укрепить свой авторитет. И когда за спиной моей шептались: «Наш гендик», — это вовсе не означало «наш генеральный директор», а имелось в виду — «наш гениальный диктатор». И меня это несколько не смущало, напротив. Это трудно объяснить, но ненасытная, неутолимая жажда власти — действительно одна из непостижимых загадок человечества, и я тоже жаждал повелевать, требовал дисциплины, требовал беспрекословного подчинения от сотрудников своей «закрытой» лаборатории, а затем, став директором, и института; талант и дисциплина — такова была моя установка при подборе кадров.

И благодаря этому к тому времени, когда я оказался в центре внимания как экспериментатор, как дерзкий зачинатель нового, неожиданного направления в биологии, я был уже величиной не только в науке, но и пользовался авторитетом как организатор, руководитель. Да, моя карьера складывалась весьма удачно, как потом я понял, не без содействия заинтересованных инстанций, но это разговор особый; я же, вдохновленный успехами, летел над полем науки, подобно шмелю, вырвавшемуся, накопив силы, в яростный полет; я летел от открытия к открытию, оглушая себя гулом не ведомых прежде никому замыслов, готовый потеснить на этой ниве едва ли не самого автора технологии вечности — самого Всевышнего. Ведь я самолично решал, пусть в пределах научных экспериментов, кому родиться на свет Божий, как родиться, от каких родителей, независимо от того, желали ли бы они того или нет, если бы знали, что я могу сотворить из их семени...

Неудивительно, что теперь я говорю себе: отсюда и самомнение твое! Что и говорить, я был поистине оглушен умением управлять зачатием и рождением человека.

Впервые мысль о возможности выведения анонимно рождаемых людей путем искусственного оплодотворения возникла по аналогии с искусственным осеменением сельскохозяйственных

животных. Там, в зоотехнике, это всегда было актуальной проблемой. Человек изменял породу животных в соответствии со своими хозяйственными интересами.

Как далеко ушла от этого экспериментальная биология, занявшись проблемами искусственного выведения человека, и не просто в целях научного познания, а с тем, чтобы управлять, а вернее, манипулировать человеческим рождением!..

Да, теперь я пытаюсь осознать, как могло случиться, что я вылетел в самооглушении из темного дупла науки, которой все безразлично, кроме собственной сути, но тогда я не думал, не подозревал, насколько безотчетно предаюсь этим опасным для рода людского занятиям, далеко выходящим за пределы нравственности. Для меня, тогда молодого ученого, существовал единственный критерий — научный приоритет. И ради торжества науки я вторгался туда, куда до меня не отваживался ступить никто из предшественников, в зону, запретную для всех религий; я вызывающе бил ногою в дверь, на пороге которой следовало склониться перед Богом.

Вот куда тебя заносило! И, когда однажды тебя вызвали в партком института и очень уважительно, доброжелательно, и даже подобострастно извиняясь, поставили в известность, что твои труды отныне считаются секретными, что публикации о твоих ценных исследованиях не должны появляться в открытой печати, тем более за рубежом, ты и тогда не придавал этому значения. А ведь это был первый ощуп твоей души. Будущие заказчики формировали из тебя нужного им исполнителя. Для тебя же важно было другое — «делать дело, двигать науку вперед».

Признаться, ты был Мефистофелем биологической преисподней. Холодный ум, аналитическая пронизательность — вот те качества ученого, которые ты ставил превыше всего. Ты не искал оправданий своей роли и не пытался разобраться — что побуждало тебя прилагать столько неукротимой энергии на этом окаянном пути. Кто же мог знать, что подкидыш желал быть прежде всего не превзойденным никем гением века?! Занятый всецело научными проблемами, ты незаметно для себя оказался по ту сторону добра и зла, не дал себе труда вникнуть в извечные терзания людей, творцов и пленников своих же заповедей. Ты ими пренебрег, мытарствующими в веках в поисках смысла жизни, тебе было не до того. А высказывание великого философа Лосева, соотечественника твоего, твоего современника, который, размышляя о роли науки в истории человечества, обронил как бы специально для тебя актуальную мысль, ты удосужился отодвинуть от себя подальше. Лосев же, между прочим, писал по поводу нигилизма новоевропейского учения о бесконечном прогрессе общества и культуры, что, согласно европейской парадигме, ни одна эпоха не имеет смысла сама по себе, а лишь как подготовка и удобрение для другой эпохи, и каждая следующая эпоха тоже не имеет смысла сама по себе, а и она тоже — навоз и почва для грядущей эпохи, а равно и всех возможных эпох; цель же постоянно и неизбежно отодвигается все дальше и дальше, в бесконечные времена, неизменно оправдывая тем самым провозглашателей всех новых эдемов. Ты истолковал эту глубокую мысль Лосева в соответствии со своим стремлением обеспечить себе свободу рук, переложить собственную ответственность на потомков. Ты убедил себя, что твоя миссия — «двигать науку», совершать открытия, а как быть с их результатами, пусть решают другие. Твое дело — вырастить плод в инкубаторской матке, а что станет с искусственно выведенными людьми, тебя не касается.

В современном обиходе получила распространение блестящая по своему цинизму фраза: «Это ваши проблемы». А ты уже тогда придерживался этого принципа, отвечал своим оппонентам о судьбе искусственно зачатых: пусть это беспокоит их самих, следует оставить им самим их личные проблемы. Рожденным, с точки зрения социального положения, в равных с другими условиях, им, икс-зачатым, предстояло самим думать о себе, как и всем прочим. К науке как таковой все это, считал ты, не имеет прямого отношения. Все, что было за пределами технологии искусственного деторождения, тебя не волновало.

Да, ты был таким. Возможно, в своей научной области ты и в самом деле был гением, способным совершать мировые открытия и прогнозировать дальнейшее развитие науки. Но все твои поступки направлял все тот же подкидыш. Ты не признавался себе в этом, но именно подкидыш, некогда

брошенный на крыльце, постоянно порывался доказать миру, что он может невозможное — он может повелевать рождением людей, заранее запрограммированных. Ты вершил эти судьбы в своей лаборатории, ты совершал то, что не осмеливался и не умел никто другой, — ты производил искусственно конструируемых людей по своему умыслу и рабочему графику, ты был одержим, ты упивался своей незримой властью над людьми.

И на всякий случай ты находил себе оправдание в том, что переживал и постигал в геополитических масштабах весь мир — в предошущении апокалипсиса XX века. Ведь никто не останавливал на скаку коня науки перед жуткой бездной термоядерных открытий, никто из ученых, действовавших в той области, не повернул вспять, не наступил себе на горло, чтобы не вторгаться в те смертоносные основы мироздания, обнажение которых несло глобальную угрозу бытию. Наука бесстрастно балансировала между гениальностью открытий и преступностью действий, увенчивая всемирной славой безымянных по стратегическим соображениям, но со временем объявлявшихся отцов атомных бомб, страдавших, чем ближе к концу жизни, тем больше, — как бы не остаться в неизвестности. И их наука двигалась. Ведь ученым мужам важно было проникнуть в недра атома, не оглядываясь и невзирая ни на что, важно было поскорее завладеть той дьявольской силой, которая, вопреки физическому ничтожеству человеческих существ, давала им возможность претендовать на вселенское всемогущество. А что касается смертельной опасности, проистекающей из фанатизма этих научных идей, что касается неизбежных последствий открытий ядерщиков, то эти тяготы оставались на долю потомков. Это им предстояло маяться за одержимые открытия отцов, это им предстояло думать и решать, как быть, как дальше трансформировать материю для своего потребления. И все пока обходилось... На это ты и уповал...

Да, ты был твердо убежден: ученый не несет ответственности за результаты своих исследований так же, как природа не несет никакой ответственности перед человеком. И ничто не могло тебя смутить, ничто не в силах было пошатнуть твою мессианскую уверенность в собственном предназначении.

Да, ты был восходящей звездой в том зазеркальном, сокрытом от взоров научном мире. И даже после того, как твоя жена Евгения покинула тебя в одночасье и бросилась прочь, как от чумы, укатила скитаться по областным театрам, на подмостках которых ей доставались разве что страдальческие старушечьи роли, так быстро она состарилась вдруг после всего, что ей пришлось узнать и пережить с тобой, даже после ее бегства ты не осекся, не содрогнулся, не глянул вокруг себя, не кинулся ей вдогонку, а самое главное, не пытался критически осмыслить то, что оказалось столь ужасным в ее глазах. Евгения не сразу вникла в смысл твоих изысканий, не сразу представила себе, в чем суть твоих экспериментов. Она была далека от научных интересов, жила в иной стихии — стихии искусства, но она была близка тебе, и ты прожил с ней многие годы, она проявляла терпимость к тому, что ты интересовался только работой, и даже к тому, что ты сам постоянно делал ей аборт, о чем впоследствии горько жалел, поняв, что рубил сук своей семейной жизни, вызывая неизбежное отвращение к себе нормальной женщины, все это не остановило тебя, ты не призадумался, не попытался ответить себе — так ли ты уж прав, не считаясь в своем фанатическом увлечении наукой с чувствами и помыслами других, и прежде всего любящей тебя жены. Когда Евгения узнала, чем ты занимаешься, к чему с годами пришел и какие цели преследуешь при этом, она плакала перед тобой на коленях, умоляла бросить все, уехать куда-нибудь подальше от Москвы, куда-нибудь на Дальний Восток, где полно работы в научных центрах, где профессура высоко чтится и не хуже, чем в Москве, оплачивается, где и она сама нашла бы свое место в тамошней театральной среде, умоляла тебя начать новую жизнь, завести, наконец, детей, но ты не поддался на уговоры жены, на тебя не подействовал ее, как ты считал, наивный ужас перед твоими экспериментами, ее сантименты, ты не пожелал расстаться с вверенным тебе делом. И сколько бы ты потом ни сожалел, сколько бы ни каялся, было поздно... Жизнь уходит с кругов на иные круги...

Твое тщеславие не знало уема. Евгения уехала-таки, но тебе казалось — что уж так сокрушаться, найдешь себе другую, вот поосвободишься немного от дел, присмотришься — вокруг столько женщин — и, несомненно, сможешь выбрать себе по вкусу и, самое главное, морально не закомплексованную, без ненужных сомнений в нравственности дела, которым ты занят. И приведешь эту женщину в свой академический особняк на «феодалном» бульваре для избранных, рядом с

такими же особняками атомщиков. Но всего этого не произошло, хотя казалось вполне возможным и доступным. И не до того тебе было, потому как надвинулись новые события, они-то и определили всю твою последующую жизнь и все то, что вынудило тебя удалиться в космос, на орбитальную станцию, и объявить себя космическим монахом.

К тому времени ты был достаточно известной личностью в академических кругах и уже пользовался особым вниманием курирующих науку политических органов. Надо быть справедливым, в этом смысле ЦК КПСС оказался на должном уровне. Насколько это так, ты мог убедиться на собственном опыте не раз и не два. Благодаря покровительству ЦК легко, почти без хлопот и «пробиваний» твоему институту, и прежде всего твоей знаменитой лаборатории, предоставлялись любые фонды и привилегии. О, как быстро привыкает человек к милости верхов, к дворцовой приветливости, к барской отзывчивости. Всегда ли так было в мире и всегда ли так будет, спрашиваешь ты теперь себя. За примером не надо бежать далеко. Президент Академии наук, ведущий атомщик, по телефону и в личных беседах не забывал напомнить: «Андрей Андреевич, ради Бога, ни в чем не ограничивайте себя. Работайте уверенно, страна готова обеспечить вашу программу всем необходимым. Все, что потребуется, — импортное оборудование, препараты, жилье для сотрудников, транспорт, короче говоря, все, что потребуется. — просите, не стесняйтесь. Вы делаете архиважную работу...»

Тебе становилось не по себе от таких комплиментов якобы от имени всей страны, простиравшейся на полмира, от этой щедрости; тебя коробило от того, что сугубо научные эксперименты все больше привлекают функционеров, закруживших вдруг, как хищные пернатые, но ты отмалчивался, нет, ты не лебезил в припадке благодарности, но ты и не возражал, и не пытался сказать, что не следует рассматривать тебя как безотказного исполнителя некоего сенсационного проекта, показавшегося столь привлекательным высшему руководству. Да, надо было своевременно остановить себя, надо было, как потом стало ясно, не давать оснований для уверенности в твоей несомненной лояльности... Но ты был то ли слаб, то ли беспринципен, то ли не чужд в душе карьеризма, стремления к липкой близости к властям предрежащим. И не потому ли оказалось само собой разумеющимся, что именно тебе предложили возглавить научную программу, весьма двусмысленную по замыслу. Именовалась она «Эмбриональная регуляция полов», но основной целью ее была разработка метода выведения анонимно рождаемых индивидов.

Такого еще не бывало на свете. И ты оказался причастен к этому, как разбойник, выбегающий наперерез движению естества. Выведение «иксродов», то есть анонимно производимых людей — рождаемых анонимной женщиной от анонимных родителей, — оказалось главной задачей твоей засекреченной лаборатории.

Термин «иксрод» — не твое изобретение, его придумали хваткие на всякого рода аббревиатуры партийные кураторы науки — вскоре стал своеобразным паролем, едва ли не революционным, ибо целью лабораторного выведения иксродов было формирование совершенно нового типа человека, будущего рыцаря идеологии. Иксроды должны были стать беззаветными революционерами XXI века. Именно это имелось в виду. В этом партийной верхушке виделся новый способ оживления и реставрации издыхающей мировой коммунистической идеологии. И, признайся, ухо твое вскоре стало привыкать к неологизму «иксрод», а душа — к делу, которым ты занимался, ты сумел-таки уверить себя, что твои эксперименты — это только наука, а что из них следует — не твоя проблема.

Стоп! Не спеши. Здесь надо расставить все точки над «и». Да, понятно, термин «иксрод» предложила инстанция, имея в виду далеко ведущую программу выведения нового типа человека. Но ведь в самом начале, при первом упоминании о стратегических целях программы, ты не возразил, не отказался, не пытался отмежеваться. И тебя мало смущало, что тебя величали новым Дарвином и что эта неслыханная в истории цивилизации программа вытекала из твоих теоретических и практических разработок, из твоих на этот счет прогнозов. И было как бы совершенно естественно, что в ответ на предложение быть научным руководителем программы по выведению иксродов ты не согласился тотчас же, ты обещал подумать, но — не отказался! Да и следовало ли, да и возможно ли было отказываться? Ведь один в поле не воин. К тому времени ты уже был, можно сказать, официально

ангажирован в той степени, когда категорическое отрицание чего-либо, исходящего от властей претерпевающих, почти исключается.

И это подтвердилось. В тот же день, когда ты в ответ на предложение президента Академии наук обещал подумать, ты был приглашен на Старую площадь, к члену Политбюро и секретарю ЦК КПСС по идеологическим вопросам и международному коммунистическому движению Конюханову Вадиму Петровичу.

На Старую площадь ты подъезжал почти привычно, не так часто, но все же несколько раз в году ты бывал здесь по разным поводам. И на этот раз ты подкатывал на своей директорской черной «Волге», поглядывая по сторонам на пробегающие машины, на толпы прохожих на московских улицах. Если бы они знали, куда и зачем ты следовал, то ничего дикого не было бы в том, если бы они перегородили улицу живой цепью и разбили бы вдребезги твою машину, и забили бы тебя камнями, Бог простил бы им эту лютость.

Как всегда, послеполуденная Москва была переполнена людьми, особенно в центре города. Сознавали они или нет, но, пожалуй, все проблемы бытия воплощались для них в тот час в поисках чего-то, в неисчислимых замыслах что-то достать, обрести и нескончаемых действиях в этой связи.

Но абсолютно никому из них ни на секунду не могла прийти в голову мысль о том, что кто-то неподалеку задумал некое дело как совокупный вызов Природе, Истории, Богу, людям, всем, вместе взятым, после чего мир станет иным, как бы заново пересотворенным. А тот человек, который потенциально мог осуществить этот замысел, между прочим, катил мимо них в роскошном автомобиле, и никто из них в тот час, естественно, не догадывался, что этот человек работает на то, чтобы настало время, когда архаизмом станут понятия семьи, родословной, генетической преемственности поколений, что любой может в результате оказаться началом и концом — без малейшего представления о тех, от кого он произошел и кого он породил. Эти функции взамен семьи надлежало нести Государству-Отцу...

Ну нет, конечно, то была не твоя личная глобальная программа. Идеологическое озарение посетило не тебя, а других, пусть даже так, но именно ты послужил тому, твоя наука послужила, твои эксперименты натолкнули черные силы тоталитарного государства на идею использовать их в своих целях. Об этом ты говоришь теперь, после всего, что произошло. Но и тогда ты смутно догадывался о том, какие практические выводы можно сделать из твоих открытий, однако считал, что тебя это непосредственно не касается, и старался не думать об этом впрямую, не рефлексировать. Оказалось, однако, что существует грандиозный замысел, что это далеко не утопия, что то, чем ты занимаешься, уже не только научные игры поощряемого властями экспериментатора. Ты понял это по прибытии в ЦК.

В этот раз у входа в проходной тебя встретил секретарь Конюханова и повез персональным лифтом, минуя все контрольные посты, на седьмой этаж. Конюханов уже ждал тебя. Он сам открыл двери и пригласил тебя в кабинет.

— Андрей Андреевич, рад вас видеть! — живо поблескивая взором через очки, приветствовал он тебя. Ничего наигранного в его радушии не было. — Заходите. Не так уж часто мы с вами видимся. Так давайте уж поговорим немного, отведем душу. Жду вас, для этого отложил сегодня нашу повседневную текучку, будь она неладна. Да, вы правы, надо бы почаще общаться, Андрей Андреевич. Но на все требуется время, время, время! Заходите! — И предупредил секретаря: — Никаких звонков. Меня — нет.

Следовало понимать, что данной их встрече придавалось какое-то исключительное значение. В общем, так оно и оказалось.

Конюханов умел вести себя, умел располагать к себе собеседника. Был учтив, вдумчиво слушал, продуманно говорил. Корректно был одет: строгий костюм, галстук под цвет, хорошая обувь.

Должно быть, не переедал, не перепивал, держал себя в форме. Необыкновенно прозрачные очки очень подходили к его продолговатому аскетичному лицу «Приклеить бы козлиную бородку, можно самого Дзержинского играть!» — почему-то подумалось тебе.

Мнение об этом секретаре ЦК бытовало вовсе не дурное, напротив, многие хорошо отзывались о нем как о широко мыслящем человеке. Среди членов Политбюро он был одним из самых молодых, ему было под пятьдесят, и считался наиболее работоспособным. Карьеру делал на дипломатическом поприще, весьма продуманно и целеустремленно — в странах, для нас политически особо приоритетных: был советником, а затем послом в Северной Корее, Вьетнаме, на Кубе и в Китае, заслуги его были высоко оценены, и вот оттуда, с той горячей линии, его и выдвинули, причем, по общему мнению, вполне заслуженно и справедливо. А дальше, буквально перед самым отбытием на международный Олимп, — Постоянным Представителем в ООН, Конюханов вдруг был передвинут в партийные органы, в их высший эшелон, и с тех пор ведал всей идеологической и внешнеполитической работой в сфере международных коммунистических движений.

Вот то, что ты знал о Конюханове, и вот представился случай, когда ты увидел его в несколько ином ракурсе.

После общих фраз он заметил для начала разговора:

— Андрей Андреевич, начну издалека. Понимаете ли, если я скажу, что история человечества свершается в одночасье, в то мгновение, когда, допустим, кому-то пришла в голову некая молниеносная мысль, как говорят в таких случаях, в одно прекрасное мгновение, пожалуй, это будет чересчур. Известное дело — в жизни все до поры до времени развивается эволюционно. Но иногда вдруг возникает, так сказать, революционная ситуация, возникает коллизия, когда некая мысль, некая идея действительно способна враз перевернуть мир. И сейчас как раз такой момент. Только ради Бога, не подумайте, что источник этой идеи — моя скромная персона. Я всего лишь попутная птица.

— В таком случае я какая птица? — не удержался ты, пытаюсь понять, к чему ведет собеседник.

— Немножко терпения. Это всего лишь присказка. А иначе не подойти к существу дела. Так вот, продолжу присказку. То, что я имею в виду, — исторический шаг, носящий революционный характер. В нем искорка от Французской, пламя от нашей, Октябрьской, так я полагаю. Это результат абсолютной свободы мышления, полного разрыва со стереотипами, но это именно то, что имел в виду еще Платон, — воздействие идеи на материю и преобразование материи в социально-политический идеал. Я понимаю, Андрей Андреевич, вы сейчас, пожалуй, в полном недоумении, к чему я все это, что за лекция? Но извините, вопрос имеет к вам, к вашей науке прямое отношение. Да, да! Не удивляйтесь!

Ты сидел с ним за большим столом, предназначенным для групповых совещаний. Секретарша принесла чай в тонких стаканах, вставленных в причудливо-узорчатые подстаканники. Ты понимал, что приглашен сюда по очень важному делу, по особо важному, иначе зачем все это, зачем столь пространное вступление к разговору. И ты пытался уловить, в чем Центральный Комитет партии увидел практический смысл твоих более чем специфических научных экспериментов. И постепенно картина вырисовывалась, поражая тебя масштабом, настораживая и в то же время захватывая своей дерзостью.

— Ну так вот, Андрей Андреевич, к чему, собственно, веду я наш разговор, — продолжил Конюханов. Он задумчиво придавил окурки в хрустальной пепельнице и вскинул голову. — Пожалуй, я излишне усложняю, — усмехнулся он. — Привык к разного рода преамбулам. А мы с вами люди свои, Андрей Андреевич. Свои. И потому буду предельно откровенным и, насколько удастся, кратким. Вот это для меня тяжеловато. Но... Первое, что во главе угла, — партия верит вам, Андрей Андреевич. Верит. И задача, которую выдвигает перед нами история, — наша общая. Да, понимаю, наука и политика — вещи разные, но классовый подход неизбежен во всем и всюду. На том мы, марксисты-ленинцы, стоим, и в этом, бесспорно, наше историческое преимущество. Вот в

данном случае ваши открытия, открытия, если можно так выразиться, рукотворной биологии, — ведь это далеко идущее вторжение в природу человека, собственно, это реконструкция человеческой личности — ее происхождения, места и роли в обществе, а в дальнейшем и возможность реконструкции всего человечества по матрице искусственно рождаемых. Как говорится, лиха беда начало. Вон куда поехала телега XX века!

Не мне вам объяснять, но в этом смысле я вполне согласен с оценкой нашего Отдела науки — такого не было со времен творения. В вашем лице наука достигла прямо-таки невиданного могущества. Как говорится — честь вам и слава! Неуловимая стихия зачатия и рождения становится управляемым делом. Вот и возникла мысль: а что, если попытаться внедрить это в массовом порядке? Это же революция, которой пока нет названия, настоящая революция в воспроизводстве человека как вида! А раз так, раз этот процесс управляем и контролируем и представляет собой новый фактор общественной жизни, новый рычаг истории, то, согласитесь, — это уже дело политики. И здесь мы с вами встречаемся, Андрей Андреевич, уже как партнеры. Мы исходим из того, что партия не должна оставаться в стороне, эдаким любопытствующим наблюдателем, а напротив, не упуская времени, должна стать во главе этого процесса, направить его в соответствующее русло в целях и интересах нашего общества, нашей идеологии. Извините ради Бога, Андрей Андреевич, я неисправимо многословен. Ну, вы понимаете, о чем речь. Вы все понимаете загодя, вы — гениальный человек. И вот что я еще добавлю. Нам нельзя забывать, чего бы это ни касалось — от открытий в космосе до открытий в экспериментальной биологии, — нам нельзя забывать нашей конечной цели, нашей всемирно-исторической роли. Вот что главное. К сожалению, определенные ревизионистские настроения бытуют даже у нас в ЦК, аппаратных кругах. Мне от вас нечего скрывать, мы — свои. Некоторые товарищи хотят легко и удобно жить при социализме в отдельно взятой стране, забывая, что мы должны думать о трудящихся всех стран! В соревновании с капитализмом мы должны победить. И пусть лозунг мировой революции сейчас впрямую не провозглашается, коммунизм победит на планете! Это — наша цель, и приближать ее мы должны всеми возможными путями, всеми средствами. В том числе и используя новейшие достижения науки. Поглощенный своими научными экспериментами, вы вряд ли подозреваете, Андрей Андреевич, что ваши уникальные достижения в экспериментальной биологии предвещают нечто глобальное в масштабах человеческого бытия. Да, да! Я это всерьез. На первый взгляд это трудно себе представить — ведь началом всему выступает всего-навсего лабораторно зачатый эмбрион, плод, возникший, так сказать, в пробирке. Но все дело в том, что рождающийся в результате этого человек — назовем его иксрод — личность анонимная, это ничейный, искусственно выведенный субъект, я так понимаю. Почему я пытаюсь объяснить хорошо вам известное? Дело в том, что для вас это предмет захватывающих лабораторных экспериментов, а для нас иксрод — новый тип человека. И, по нашим прогнозам, именно иксроду предстоит перевернуть старый мир во избавление от него трудящихся классов! Вот в этом вся соль. Именно он, иксрод, может стать со временем главнoдействующей фигурой в историческом процессе!

Я говорю об этом, может показаться, со слишком большим энтузиазмом. Не без того. И вот почему. Ведь феномен иксродов удивительно многообещающ в политическом плане. Это будет именно та пробивная сила, которая, в отличие от нас, без оглядки, без страха и сомнений будет бороться за победу коммунизма во всем мире. Семья и прочие родственные отношения как архаичные институты старого мира насилия будут сброшены на свалку истории именно иксродами. Иксроды как носители небывалой свободы личности и духа будут прокладывать путь к новой эре человечества, давно предвиденной нашим революционным учением. Иксрод в перспективе не только ликвидатор старого, отжившего, но и создатель нового мира. Не сомневаюсь, великие люди, гении в иксродовой среде будут появляться гораздо чаще, чем в обычной, архаичной. Сами понимаете — тут полная свобода от семейных и прочих рутинных уз и забот. Дети производятся искусственно, обезличенно и соответственно воспитываются. Кстати сказать, некоторые товарищи в отделе предлагают называть анонимно рожденных «сбакитами» — так называют кусок ценной породы неизвестного происхождения, но мне кажется, «иксрод» — лучше, точнее.

Пока мы лишь теоретизируем, лишь рассуждаем на интересующую нас тему, прогнозируем, что несет с собой это неслыханное явление новочеловека, но прогнозировать необходимо. Нельзя сидеть

сложив руки, когда современная цивилизация гонит одну за другой новые волны и событий, и проблем. История нам этого бы не простила. И я хочу сказать в этой связи, что будущее во многом будет зависеть от того, кто сумеет захватить приоритет в глобальной борьбе миров. Победителем станет тот, кто широко раскроет двери в обществе новолюдям — иксродам, явное преимущество которых в том, что эти анонимно рожденные существа будут абсолютно свободными от семьи, от всевозможных родственных и клановых уз, от патриархальных и прочих связей, что повлечет за собой избавление от векового груза устаревшей этики. В политическом аспекте — это неоценимый выигрыш. Иксроды станут эталоном коллективизма и интернационализма. Они станут ударной силой коммунистического интернационала, и именно они нанесут Западу решающий политический удар!

Все это, как вы сами понимаете, в перспективе, однако общая концепция должна быть проработана и должна быть задействована. И партия глубоко заинтересована в том, чтобы такой ученый, как вы, Андрей Андреевич, разделял нашу позицию по данному вопросу. Вот в чем, собственно, смысл нашей встречи. И я полагаю, что мы находим общий язык. Ведь на практике от вас, Андрей Андреевич, зависит главное, вы — творец технологии производства иксродов. А мы уж постольку поскольку: идеология — это ветер в паруса, мощный ветер движения, но не паруса... Не так ли? Кстати, и компетентные органы проявляют большой интерес к вашей работе, у них есть на этот счет конкретные предложения.

Разговор еще продолжался. Ошеломленный услышанным из уст самого секретаря ЦК, я пытался скрыть в себе то, что терзало и мучило меня в тот час. Я не привожу здесь своих замечаний и реплик по ходу беседы, они не столь существенны в том смысле, что не содержали в себе чего-либо отличного от позиции ЦК или, допустим, оспаривающего мнение Конюханова, в лучшем случае мои высказывания можно было бы принять за осторожные сомнения собеседника.

В чем же дело, почему я теперь вспоминаю об этой беседе с ужасом?! И теперь, уже в космосе, задним числом восклицаю: что затевалось-то, что задумывалось вокруг иксродов, к чему изготавливались?! Пытаясь объективно воспроизвести ту памятную встречу, я излагаю все, как было, и в отношении себя, как я выглядел в тот час. Мое поведение, разумеется, не делает мне чести. Но тогда, на Старой площади, вряд ли я мог повести себя иначе, — это не в оправдание, я не герой и не хочу им быть, но честно скажу, вряд ли я мог повести себя иначе, не рискуя в перспективе тем, чтобы быть ущемленным, постепенно отстраненным от разработки своей главной темы, которую захватят мои же сотрудники, верные оруженосцы партии, — таких примеров в Академии наук было сколько угодно. Утрата руководящего положения и влияния часто оборачивалась катастрофой и по-страшней, чем потеря положения в науке. Да, во мне говорил классический конформист, прислужник властей, каковой была тогдашняя интеллигенция в подавляющем своем большинстве, что бы она сейчас ни заявляла о себе постфактум.

И еще один момент, индивидуальный, личный, но не менее существенный, мешал мне в том случае... Понимаю, что и это не оправдание, и все-таки... Как поджелудочная железа, постоянно выбрасывающая в организм ферменты, меня все время подгоняла и помыкала мной болезненная мысль о том, что думает попутно Конюханов о моем собственном анонимном происхождении. Эта мысль не давала мне нормально чувствовать себя. Понимал ли он это или нет или, увлеченный своими умозаключениями и идеями, начисто забыл, выпустил из вида, кто я, что я по происхождению, или, напротив, умышленно эксплуатировал этот факт моей биографии — биографии подкидыша, обнаруженного когда-то в мешковине на крыльце рузского детдома. Ведь фактически я и был иксродом, пусть и естественно рожденным, но именно таким, без рода, без племени, негнибачимым, невозмутимым, если не сказать — бессердечным в своих поступках, прославившим жестким специалистом своего дела, человеком, не распылявшим своих способностей и времени ни на что другое, кроме целенаправленной деятельности. Судя по всему, партийных идеологов именно это и устраивало, именно такими им хотелось видеть настоящих иксродов. Я был подобием иксрода по воле судьбы. Хоть и не говорилось об этом в открытую, но я невольно представлялся в качестве живого примера, в некотором роде прообразом... Я понимал это... Возможно, этим и объясняются странные ощущения, владевшие мной в тот день в одном из главных кабинетов на Старой площади.

Я чувствовал себя неуверенно — зыбко, смутно, переменчиво: душа терзалась в капкане. Получалось, что в стенах этого кабинета возникал как бы заговор с моим участием. Где проходит граница между научными опытами и преступлением, кто бы мог указать ту зыбкую межу?! В душу вкрадывались сомнения: а если это заговор против вековых устоев человечества, выстрадавших в долгой цепи поколений, человечества, живущего пусть и страшной и нелепой жизнью, но неизменно, из рода в род, жаждущего совершенства, надеящегося на чудо в достижении утопических идей, исходя из чаяний предков, неизменно веривших в то, что если им не удавалось, то дети, внуки обретут искомое счастье... Иксродам предстояло остановить движение того исторического колеса, положить конец Отцовству, Материнству, положить конец всему, что являлось продолжением опыта поколений для всех и для каждого на белом свете... Ситуация, не предвиденная в веках и немислимая: вторично, вслед за Адамом и Евой, изгонялись из мира Отец и Мать, причем негласно, без раскатов громopodobного гнева с небесных высот, без проклятий, запечатлевшихся на все времена, изгонялись весьма прозаично — через исключение родительских обязанностей, изгонялись коварно и исподволь — через манипуляции зародышами, изгонялись при этом в никуда... И во всей этой истории я невольно фигурировал в тоге главного действующего лица, гонителя и незримого палача Отцовства и Материнства...

Но в то же самое время я понимал, сколь возрастает моя роль, мое значение, сколь важным становится мое место под солнцем конъюнктуры. Во мне нуждались сильные мира сего как в исполнителе грандиозной акции.

Я сполна пожинал жатву подкидыша. Возможно, это было предначертано самой судьбой, как по некоему дьявольски задуманному сценарию, — меня как бы умышленно подталкивали отомстить миру именно таким невероятным образом, — я, иксрод по рождению, был призван выводить племя анонимно рождаемых иксродов по разработанной мною технологии. И кому-то очень на руку оказалось такое стечение обстоятельств — очень своевременно, очень кстати подвернулся я на этом повороте истории...

Прощаясь у дверей, Конюханов сказал:

— Андрей Андреевич, не знаю, как вы, а я получил огромное удовлетворение от нашей встречи...

Я ответил ему примерно такой же любезностью. И тогда он неожиданно продолжил разговор.

— Понимаете ли, Андрей Андреевич, я хочу вам объяснить один момент. К вам будут обращаться товарищи из органов, они по части... — он не досказал и продолжил: — У них будут свои предложения, с тем чтобы содействовать вашей задаче. Ну это, конечно, вопросы технического, организационного порядка, можете не беспокоиться. У них, кстати, как всегда, все продумано и рассчитано, и в данном случае, я бы сказал, тоже со знанием дела...

Честно говоря, такое сообщение меня несколько обеспокоило:

— Вадим Петрович, — обратился я к Конюханову. — Коли вы уж упомянули об этом, за что я вам признателен, то не лучше ли мне услышать от вас лично, в чем будет выражаться содействие упомянутых товарищей. Ну, чтобы быть готовым к соответствующим контактам.

— Пожалуйста, — понимающе улыбнулся Конюханов. — С готовностью, Андрей Андреевич, с вами поделюсь, и это будет правильно, согласен. Информация у меня от нашего отдела. А остальное узнаете непосредственно в процессе работы.

То, что довелось услышать дальше, действительно, с точки зрения чисто делового подхода, оказалось весьма и весьма рациональным. Товарищи знали, чего хотели, и все продумали и предусмотрели.

Я размышлял об этом уже в машине. Снова глядя на многолюдные московские улицы, я вспоминал подробности беседы с Конюхановым, потрясенный тем, как внезапно мои лабораторные занятия переросли в крупную, строго засекреченную программу государственной значимости.

По проекту компетентных органов выведение иксродов предполагалось производить в два этапа. Первый — эмбрионально-инкубационный — возлагался целиком и полностью на мой институт, под мою личную ответственность, для чего я получал соответствующие права и средства. Самое сложное на этом этапе было связано с имплантацией лабораторно зачатого анонимного зародыша в чрево инкубы, женщины, предоставляющей свой организм для вынашивания подсаженного эмбриона, то есть для обычной девятимесячной беременности. После родов начинался второй этап, условно — молочно-грудной. Эта часть программы нас уже не касалась, возвращением и дальнейшим воспитанием иксродов должны были заниматься специальные интернаты. Примерно такой в общих чертах представлялась компорганам «индустрия» иксродов.

Проблемы? Как и везде, здесь возникали свои проблемы. Наиболее уязвимыми в этой технологии оказались, как ни парадоксально, не трансплантация зародыша в матку женщины-донора, не выращивание там плода, а чисто субъективные факторы морально-этического порядка, связанные с психологией этих женщин, которых предлагалось именовать инкубами. Искусственно зачатый в лаборатории иксрод генетически не имел к инкубе никакого отношения. Стоит ли говорить, что далеко не каждая женщина, отнюдь не каждая, согласилась бы на такой «прокат», на «арендное» употребление своего материнского лона, на фиктивное материнство. Вокруг этой проблемы запросто мог возникнуть общественный скандал. И что тогда? Какой шум поднялся бы за границей, докатился бы до ООН и прочих гуманитарных организаций, так и ждущих какого-либо громкого дела!.. И вот тут надо отдать должное прозорливости и находчивости нашего всеведующего «трехбуквенника» — КГБ. Когда провожавший меня к дверям Конюханов излагал организационные идеи компорганов, я понял, как птица, оказавшаяся в пещере, откуда выход только один, я понял, что наша лаборатория, наш институт и я сам давно находились под бдящим оком компетентных органов — настолько точно была схвачена суть проблемы. Работники КГБ предлагали свою методику и содействие в решении задачи. Предлагалось следующее: инкубы будут секретно вербоваться из числа женщин, осужденных и отбывающих сроки наказания. А таких в стране всегда было предостаточно. Десятки и сотни тысяч зечек, осужденных по всевозможным статьям за всевозможные преступления, находились в многочисленных женских колониях и на поселении. Выбор инкуб из числа зечек мог быть в этом смысле почти неограниченным. Требовалось мое согласие. Я обещал подумать.

Позднее я познакомился с деталями компоргановских предложений и опять же был поражен знанием дела и точностью в проведении намеченных задач. В инкубы должны были вербоваться зечки из осужденных на долгие сроки — от 10 до 25 лет лишения свободы. После соответствующего медицинского обследования зечке предлагалось роль инкубы на следующих условиях; а) рождение одного иксрода уменьшало срок заключения наполовину, рождение второго иксрода давало право на полное освобождение; б) зекинкуба обязана была вскармливать иксродмладенца грудью до трехмесячного возраста, а затем должна была безоговорочно передать его на государственное воспитание; в) по завершении постродового периода зекинкубу переводили в лагерь или на поселение в особо удаленных районах; г) зекинкуба давала подписку о неразглашении сведений о ее роли, местопребывании, составе обслуживающего персонала; при нарушении условий подписки зекинкуба подлежала вторичному осуждению.

Вот так в общих контурах выглядел компоргановский проект вербовки зекинкуб. Я долго думал. Не скажу, что я был в восторге от этого проекта, но другого выхода я не видел. И я дал согласие.

Был у меня разговор с одним из работников компорганов. Приехал он в институт для беседы. Довольно умный человек. Когда я высказал сомнение в моральности вербовки инкуб из числа осужденных, он ответил, что пока другого варианта нет, а со временем в использовании заключенных отпадет необходимость — услуги инкуб будут оплачиваться, как, скажем, оплачиваются услуги проституток. И возможно, инкубаторское вынашивание анонимно рождаемых детей для определенного круга женщин станет профессией, причем довольно доходной.

Разговор наш был абсолютно прямым, откровенным, без всяких условностей. Он утверждал, что наступят времена, когда инкубаторство не только станет легальным, но, более того, этот тип деторождения окажется наиболее предпочтительным. И тогда понятия «Мать», «Отец» вообще уйдут в область преданий или будут иметь чисто условное значение.

Таким образом, замысел компорганов все больше обнажался в своей подспудной части и далеко идущих намерениях — шаг за шагом приоткрывалась особая их заинтересованность в контроле над выведением нового типа бескорневого человека. Предполагалось со временем поставить это дело на широкую ногу. Предусматривалось постепенно все шире внедрять анонимные роды анонимных детей профессиональными роженицами, организованно воспитывать иксродов в интернатах с тем, чтобы освобожденное от необходимости деторождения население могло всецело посвятить себя производительному труду, другим актуальным задачам, и прежде всего, конечно, делу неотвратимой мировой революции, — от этой цели коммунисты отступать не собирались. Иксроды поставят в мировой истории точку, и пойдет новый счет летосчисления...

Он не выбирал выражений, мой собеседник, куратор: «Иксроды поставят точку, окончательную, давно необходимую. Вся эта шумиха, борьба за мир во всем мире и прочие красоты — сентиментальная болтовня. И если решающее слово за атомным ударом, то его произведет как раз иксрод. Ему терять нечего, его ничто ни с кем не связывает, он обезличен, его Родина — Система, давшая ему жизнь в пробирке. И рука его не дрогнет, когда надо будет нажать кнопку. Все дело в том — кто первый и кем возвращен иксрод, который первым нанесет ядерный удар!»

Небольшой санаторий в подмосковных лесах, прежде принадлежавший профсоюзам, вскоре был передан нам как научно-исследовательская база. С полгода ушло на реконструкцию и оборудование кабинетов, палат, помещений для охраны и прочих служб.

Я не спешил особо. Но настала пора действовать. Сразу скажу, шел я на это с нелегкой душой и, возможно, поэтому подчеркнуто не интересовался личностями кандидаток в инкубы сверх того, что сообщалось о них в сопроводительных документах. Держал себя с ними строго официально, разговаривал сухо, лаконично. Привозили их в клинику поодиночке, каждую в назначенный час в закрытой машине, одетую в гражданское платье, и все они были для меня на одно лицо — объекты предстоящей имплантации иксэмбриона. Обращался я к ним обезличенно — женщина: «Здравствуйте, женщина. Как вы себя чувствуете, женщина? Осторожно, женщина, я вас должен осмотреть, не двигайтесь». Только так. Соответственно и ко мне было установлено обращение — профессор. Ничего постороннего, ничего лишнего, все инкубы были важны лишь как полученные напрокат утробы. Ни одну из них я не запомнил в лицо, так как для дела это не требовалось.

И только одна оказалась исключением из правил... Но об этом позже... Вот об этом попозже бы...

Вот и пришел ты к Берегу, а дальше другая Река...

Ты маешься, ищешь любой повод, только бы отодвинуть мысли об этом, воспоминания об этом. Ну и что же? Разве не убеждаешься ты всякий раз в нелепости, химерности попытки убежать от себя? Умереть можно, но уйти от себя нельзя. В этом смысле человек, будучи смертным, вечен.

О Боже, что ты пытаешься объяснить необъяснимое, что ты кидаешься в бездну своей души, чтобы рассказать о том, что не подвластно слову, по крайней мере твоему слову?!

А ведь ты считал себя исключительно сильной личностью, и было бы странно, если бы ты не совладал с собой, когда это требовалось из соображений высшей целесообразности. Но в этот раз ты не смог преодолеть себя... А ведь ничто не предвещало того, с чем ты столкнулся, как комета, налетевшая на другую комету. Ведь все шло своим чередом.

Случилось это весной следующего года, когда первой группе зекинуб уже были имплантированы эмбрионы и она находилась под соответствующим медицинским наблюдением.

Эту женщину доставили в тот день на обследование, как привозили обычно и других, в сопровождении «фельдшера» — так на старомодный лад называли мы охрану инкуб. Когда ассистент и медсестра привели ее ко мне в кабинет, я бегло просматривал данные ее предварительных обследований. Все было в норме — общефизические показатели, гинекология, только это меня и интересовало — пригодность пациентки для вынашивания имплантированного плода, все остальное было делом спецслужб, то были их заботы. В этом смысле работа была поставлена четко, если не сказать безукоризненно, никаких проблем не возникало. Да и с чего им было возникать. Ведь в зонах и тюрьмах отбор кандидаток в инкубы производили квалифицированные сотрудники, тщательно изучавшие зечек на предмет их целевой пригодности; сами зечки, давшие согласие на вынашивание плода, были больше всех заинтересованы, чтобы только не случилось чего, чтобы не упустить такую невероятную возможность сокращения срока наказания: выносив и родив младенца, избавиться от многих лет заключения! Да такое никому и во сне не снилось! Понятно, что появлялись они у нас в клинике, трепеща от страха и надежд, умоляя небеса, чтобы ничто не помешало тому, что забрезжило на их страшном пути. Могло ведь случиться — возьмут да забракуют на последнем этапе клинической экспертизы: не годна, мол, в инкубы. Естественно, женщины волновались.

Новую зечку, препровожденную в кабинет, оставили сидеть на стуле возле двери. Коротко ответив на ее односложное «Здравствуйте», я снова глянул на ее досье — на персональный номер заключенной и индекс места заключения, глянул еще раз на фамилию, которую тут же забыл, кажется, Лопатина. Фамилии обычно не запоминаются — они или очень сложные, или очень простые. Но вот имя пациентки показалось мне странным — Руна, что за имя, что-то в нем руническое, усмехнулся я и поднял голову. Первое, что бросилось в глаза, — то, что женщина была в очках. Стало быть, появилась среди инкуб и такая — в очках. У нее было интеллигентное лицо, и мне подумалось, что нелегко ей, должно быть, приходится в зоне, там, известное дело, мат-перемат, драки, таскание за волосы и прочее... А собой совсем не дурна, на воле наверняка была еще лучше, была, наверное, красавицей. Но вот смотрит как-то не так, как следовало бы в ее положении, — никакой повинной улыбочивости, предупредительности во взгляде. Карие глаза за стеклами очков выражали лишь сдерживаемое любопытство. Можно было представить, что на воле она следила за собой, подводила брови, подкрашивала ресницы, преображалась перед зеркалом... Но это на вид и к слову, а ведь на ее счету какое-то серьезное преступление, недаром ведь осуждена на десять лет, недаром зечка... И теперь вот решила родить иксрода, чтобы скосить срок.

— Ну так вот что, женщина, — сказал я. — Контрольные анализы полагается сделать еще раз, повторно. Тогда станет ясно, как дальше.

Она молчала.

— Какие-нибудь жалобы есть?

— Что вы имеете в виду? — сказала она.

— Состояние здоровья. Ничего другого.

— Нет, пока нет.

— Необходимо строго следовать предписаниям подготовительного периода. Об этом тебе расскажут. Если все будет в порядке, имплантацию произведут в начале следующей недели, во вторник или среду, не раньше. Так что придется подождать.

— А я и не спешу. Меня все это вообще не волнует.

Ее дерзкий ответ удивил меня. Такого здесь еще не бывало. Разглядывая очкастую повнимательней, я встал из-за стола и подошел к ней. Она тоже встала. И я строго сказал, чтобы ей неповадно было говорить со мной в такой манере:

— Если не к спеху, и тем более если тебя это вообще не волнует, то стоило ли огород городить? Ты с каким намерением сюда отправилась, ты знала, куда и зачем следуешь?

— Знала. Разумеется, знала.

— Ну и что? Я тебя спрашиваю, женщина. Зачем ты сюда ехала?

— Зачем? А затем, чтобы увидеть вас, профессор, и убедиться, что все это вовсе не детские байки!

— Только и всего?

— Поверьте — только и всего. Чтобы увидеть вас и сказать вам всю правду в глаза.

— Вон как?! — невольно вырвалось у меня. И я сказал коротко и жестко: — Ты письменное согласие давала?

— Да, давала.

— Ты понимаешь, что твое поведение будет расценено как нарушение подписки и ты схлопочешь новый срок?

— Понимаю.

— В этом есть острая необходимость?

— Есть острая необходимость в этом разговоре. Это необходимо для вас.

— Для меня? А мы что, решаем с тобой какие-то проблемы?

— Решаем. Будут ли люди размножаться, как велено природой и Богом, или по наущению дьявола возникла эта проблема?

Я замолчал, точно наскочил внезапно на стену. Потом сказал, едва сдерживая бешенство:

— Для этого у меня есть собственная голова на плечах, мадам. Придется нам расстаться. Жаль, что ты не сократишь себе срок, а, напротив, удлинишь его. Тут уж пеняй на себя.

— То, что я должна была сказать, я сказала.

— Не слишком ли много ты берешь на себя? Не подводит ли тебя чувство меры?

— Я зечка, Андрей Андреевич, — она неожиданно назвала меня по имени-отчеству, и то, что слышишь механически сотни раз в день, в ее устах прозвучало странно. — Я зечка и только, — повторила она. — И я знала, на что иду. И добилась своего. Я считала это своим долгом. И выполнила его, как могла. Может быть, этот разговор что-то пробудит в вас, заставит задуматься. Вот и все.

— Ты мне здесь мораль не читай! — рассвирепел я, все лучше понимая, что произошел неожиданный, но когда-то неизбежный в работе с инкубами сбой. — На твое место найдутся десятки желающих!

— Вот это самое страшное, — проговорила она. — И это на вашей совести. Целиком и полностью на вашей совести.

— Совесть совести рознь! — отрезал я.

— А такое я впервые слышу.

— Оставим философский диспут тем, у кого на это есть время. Тебя не для того сюда доставили. Отправляйся назад. Нам с тобой говорить не о чем.

Я нажал кнопку вызова. За ней пришли.

— Прощайте, — сказала она, уходя.

Я ничего не ответил.

Дверь захлопнулась. Я вернулся за письменный стол. Начались другие дела, другие заботы.

Но этот досадный случай не выходил из головы. Надо было дать указание, чтобы «правдоискательницу» отправили восвояси, туда, откуда она прибыла, в зону, кажется, под Костромой, и пусть там мнит о себе, что угодно. Но отложил на потом. Вспоминал эту зечку среди дел, звонков, разговоров, никак не мог заставить себя забыть, но никому, ни одному из сослуживцев, даже тем, с кем был относительно близок, — никому не рассказал о том, что вывело меня из равновесия и продолжало саднить душу.

Странное, очень странное у меня было состояние, сам себя не узнавал. Решил зачем-то получше, поподробней познакомиться с ее делом. Откуда такая? Кто она вообще? За что сидит? По какой статье? Психически ненормальных в зонах вроде бы не должны были содержать. Но что же это за необузданная женщина? Каким ветром отчаяния пригнало ее, какими мыслями и словами была она начинена и что могла еще наговорить, дай ей волю, чтобы побольнее ударить по моей совести, чтобы муторно мне стало, чтобы пополз, волоча кровавый след муки.

Претенденты на совесть могут ничего не иметь, кроме своей категоричной точки зрения, и в этом их наступательная сила. Совесть, однако, требует прежде всего внутренней независимости, а иначе ее покупают и продают, как старье на базаре. Да и вообще, что есть банальнее на свете, нежели понятие совести? И эта зечка явилась тут Америку открывать! Уж ей ли пристало говорить о совести — преступнице, уголовнице осужденной?!

Но, думая так, я сам себя начинал ненавидеть. Что ты оправдываешься, перед кем и за что?! Слаб оказался. И что ты все думаешь о ней?..

Я заново раскрыл ее дело. Лопатина Руна Федуловна, осуждена по статье 158-й, за хранение и распространение антисоветских материалов... А, ну тогда ясно, разве не видно было сразу по полету, что за птица?! Как же, как же, таким всегда нейдет, всегда им надо выступить с протестом, чтобы заявить о себе, и в этот раз нашла, выходит, где высунуться... Не замужем, разведена. Кто же станет жить с такой стервой. Ничего удивительного.

Потом меня отвлекли другие дела, и я задержался после работы, чтобы не брать с собой бумаг, подлежащих хранению только в служебных сейфах. Дочитал, все прочел, что касалось Руны Лопатиной. Ну и что мне подумалось в итоге? В общем-то, конечно, женщина своеобразная, с определенным взглядом на жизнь; как правило, такие личности появляются во все времена в радикальных кругах, в оппозиции, духовной, политической, правительственной. Среди них есть всякие. И такие, что мнят себя мессиями и ради идеи готовы принести в жертву всех, кто последует за ними... Но при чем тут Руна? Судя по всему, она идеалист-одиночка. А впрочем, кто ее знает. Как я могу судить, увидев ее один раз, услышав от нее всего несколько слов. Да, конечно, человек она

нелегкой, куда как нелегкой судьбы, учительствовала, потом занималась кинодокументалистикой — писала документальные киносценарии о советской школе, а школьные проблемы всегда у нас были социально острыми.

Вспомнилась мне тут вдруг незабвенная Вава, Валерия Валентиновна, знала бы она, чем занимается ныне ее гениальный ученик! Но это были попутные мысли. А что касается Руны, то она, судя по всему, попала под суд из-за своего брата Лопатина Игоря Федуловича. Он-то как раз был профессиональным киношником, окончил знаменитый ВГИК, и, по всей вероятности, не без его влияния и помощи Руна и занялась школьными киносюжетами. Как отмечалось в следующих материалах, бывшая учительница Руна Лопатина, подвизавшаяся в любительской секции при киностудии имени Горького, способствовала распространению сомнительных в идейном смысле умонастроений среди любителей кино. Были свидетели, утверждавшие, что она, Руна, выступала за тенденциозное направление в искусстве, за документальные сюжеты, негативно представляющие советских людей и их быт. То было прелюдией к обвинению.

Главным обвиняемым по делу проходил ее брат, Игорь Лопатин, он обвинялся в том, что, «будучи штатным кинооператором, использовал государственную аппаратуру и средства для уголовно наказуемой деятельности — снимал клеветнические, искажающие советскую действительность, порочащие советский общественный и государственный строй документальные ленты, с тем чтобы дезинформировать таким образом западную общественность». Причем подчеркивалось, что «подсудимый занимался этим преступным делом не бескорыстно, а продавал порочащие советское государство киноматериалы на Запад за валюту. Именно там, за рубежом, где эти материалы демонстрировались в кинозалах и по телевизионным каналам, наши спецслужбы выявили происхождение этих кинолент».

Как говорят в таких случаях, какие знакомые арии, какие знакомые истории, и кто знает, так это все или не так, но, как бы то ни было, в результате Руна Лопатина была обвинена в уголовном деянии. Она обвинялась в прямом пособничестве брату — он передавал ей «несанкционированно отснятые» ленты, а она их хранила у близкой подруги. Эти связи были отслезены. Кто-то навел-таки на след. Игорь был арестован, а когда Руна кинулась на квартиру к подруге предупредить, здесь ее уже поджидали сотрудники надлежащих служб. Так что взята она была с поличным. А дальше происходит неожиданное — в ходе процесса Руна предпринимает отчаянную попытку как-то облегчить участь брата. Она берет на себя основную вину, заявив, что это была ее идея — снять сцены жизни и быта советских людей, что это она давала брату указания, что снимать и как снимать, что она сама, лично передавала отснятые пленки иностранным корреспондентам за валюту, что, по сути дела, младший ее брат был лишь исполнителем ее замыслов.

Вот такая история. И еще одна любопытная деталь: на суде Руну обвинили в интимной связи с американским журналистом, который, вернувшись к себе в Америку, написал якобы статью, где «высоко отзывался о своей любовнице, а к советскому обществу проявил, напротив, исключительно враждебное отношение», это была якобы месть за арестованную к тому времени преступницу. Руна же отрицала, что была любовницей американского журналиста, утверждая, что просто занималась с ним русским языком... В общем, не разбери-поймешь. Кто их знает, что там было, но как бы то ни было, все это окончилось для этой Руны весьма плачевно...

В тот день я уезжал с работы поздно. Были и рабочие дела, и странное желание получше познакомиться с прошлым Руны Лопатиной тоже изрядно меня подзадержало.

Привычно кивнув охране у ворот, я выехал аллеей на Успенское шоссе уже в сумерках. Включился в поток машин, спешивших в Москву.

Красивые здесь места и зимой, когда леса и пригорки в белых снегах, как во сне, и летом, когда зеленое цветение достигает своего апогея, когда за лесом вдруг выглянет на несколько секунд неожиданное видение — сияющий изгиб Москвы-реки. Восхитительная магия воды, неба, леса; я

всегда старался не пропустить этого мгновения, чтобы глянуть через стекло и умчаться дальше, сохраняя пред взором оставшееся позади.

Останавливаюсь на этих деталях не случайно. Сколько раз, бесчисленное число раз пронесся я по этим местам в ту и другую сторону, но откуда было знать, что жизнь моя кровным образом окажется связана с этими придорожными пространствами?.. И настанет такое время, когда я не найду в себе сил ездить этим путем, буду ездить в обход...

А в тот раз, приближаясь к Москве, я думал о том, надо ли было давать указание, чтобы эту строптивую кандидатку в инкубы Руну Лопатину вновь привезли на следующий день в клинику. Да, я дал такое указание. Зачем я это сделал? И что я ей скажу? Разве не ясно, что, когда она давала согласие стать инкубой, цель ее была совсем иной, возможно, она, эта Руна, все-таки чокнутая, а возможно, в ней говорит мания надуманной праведности, исключительной совестливости и прочих не от мира сего добродетелей. Что с ней канителиться?! Да ее надо гнать в шею куда подальше, пусть погибает у себя в зоне. Нашла кого совестить, а сама-то она кто?! «А ты сам? А ты?! — тут же говорил я себе. — Нашел себе мишень! Осужденная, бесправная зечка, и ты с ней копыя скрещиваешь! Хорош, нечего сказать, хорош!»

Раза два тормоза чуть не сорвал на поворотах, колеса закрипели так, что прохожие кинулись по сторонам, — задумался за рулем, не мог отогнать назойливо преследовавшие мысли. А ведь видел я эту Руну всего один раз, с чего же меня так проняло? Я припоминал, как поднялся из-за стола и подошел к ней, как она тоже встала со стула. И вот она стоит передо мной — зечка, в одежде, в которую ее специально обрядили для доставки в загородную клинику пред очи профессора, — в черт его знает где сшитой серой кофте, мешковатой, длинной юбке, в грубых башмаках. Когда-то, когда вещи служили ее красоте и вкусу, она была хороша. Я думал о ее глазах, встревоженно, решительно и мужественно глядевших на меня. Ведь глаза — их называют зеркалом души, но это неверно, — глаза и есть сама душа, ее живое выражение. По-мальчишески угловатые, хрупкие плечи ее невольно ежились, а гибкие, тонкие руки она держала, скрестив. А ей бы распрямиться, а ей бы быть непринужденной, а ей бы улыбаться, ей бы идти по улице среди пестрой толпы. Не для диссидентства она предназначалась и вообще не для этой эпохи. Ей бы наряды прошлого века! Можно представить, как бы она выглядела... В то же время какую чушь порола! Остановить науку с помощью совести?! Вот ведь всегда так, всюду человек суется со своей совестью; что бы ни было, что бы ни произошло, дай ему ответ — по совести это или не по совести! И каждый на свой лад держит ту совесть за пазухой. И каждый кичится ею. И каждый заявляет о ней от имени Бога!.. Но на одной совести далеко не уедешь. Мало кто способен восстать против Бога с его совестью, которой он всех нас наделил и обуздал, мало кто способен попереть его прочь с дороги, когда надо брать в свои руки то, что всегда было его монополией, как его монополия власть над рождением. Хватит ему монополии на смерть, уж этого у него никто не отнимет! А что касается рождения, тут я с ним конкурирую, и мне не до совести... Понимает ли это Руна, нет, пожалуй, ей этого не понять. Оттого и явилась героиней, кричащей о совести... Ей бы подумать о себе, куда и как ей теперь...

В ту ночь в своем академическом особняке, одном из тех, что были дарованы еще Сталиным своей команде атомных бомбовиков, от пирога которых достался и мне солидный кусок, я не находил себе места. Толстые стены, громадные окна, высоченные потолки. Но к чему я здесь? И вообще, к чему я, зачем живу? Снова заговорил во мне в ту ночь подкидыш. Я лишний, я сам иксрод, я «черная дыра» в людском роду. Кому от меня стало счастливее на свете, кто горячо возблагодарил жизнь, встретив меня, какая женщина? Евгения, бежавшая без оглядки? Что познала она, чудесная актриса, живя со мной? Холодный ум, бесчувственность, жестокость, аборт, собственноручно делаемые мужем? Да и те женщины, что мимолетно встречались на пути, вряд ли вспоминали потом об этих эфемерных встречах как о нечаянной вспышке счастья. Все, что было связано со мной, обнажалось пустынностью, безрадостностью...

Отсюда мысли мои незаметно вновь кочевали к ней, к сегодняшней этой зечке, к Руне, женщине с именем из рунических времен. Но почему я думаю о ней? И что с ней в этот час? Страдает, наверное. Быть может, расчесала сейчас волосы, распустила их, чтобы был им отдых от темных мыслей,

гнетущих ее, теснящихся в голове. А на воле, наверное, причесывалась по-иному, волосы у нее были пышные и волнистые, и тогда не приходилось стискивать их в узел на затылке, как предписано в зонах. Вздумав «раскрыть глаза» профессору, поставила себя в еще худшее положение, осложнила себе жизнь. Неужели она была к этому готова? И что она думает о сегодняшней нашей встрече? Быть может, она в чем-то и права, но ведь одной совестью, одними благими намерениями мир не насытишь, не ублажишь, не изменишь звериной сущности человека, алчущего все большего места под солнцем; при таких аппетитах скоро солнца не хватит на всех, но еще страшнее, что он, человек, все больше и ненасытнее страдает господства над себе подобными. Потому и нужны новочеловеки — иксроды... А она хочет встать на их пути, преградить им доступ к жизни, к власти, к войне. Понять можно, но нет такой силы, чтобы одолеть неодолимое...

Очень часто вопрошал я впоследствии почти бессмысленно: почему в тот вечер я оказался полностью предоставленным самому себе? Почему не было никаких собраний, заседаний, встреч и прочей светской и политической толкотни, от которой в другие дни житья нет...

Я терзался той ночью и все никак не мог успокоиться. Смутила меня эта зечка Руна, застигла врасплох — ведь никто из окружающих в нашем деле не сомневался, или мне так казалось?..

Но ведь и себя она не пожалела, демонстративно жертвовала собой! Как можно?! Зачем она принуждает меня выступать в неблагоприятной роли гонителя и прокурора? Неужели действительно только ради того, чтобы кинуть в лицо мне обвинение, она решила лишиться себя воли еще на долгие годы?! Хотя понять ее можно — это единственное, что могла она предпринять, задавшись целью высказать свою позицию, свою правду. Она не имеет возможности выразить это открыто, публично — ни на улице, ни на собрании, ни тем более зарубежным корреспондентам. Она замурована в зоне... И теперь ей грозит новое наказание... Хорошо, что никто не знает о том, что произошло между нами, хорошо, что я не обмолвился никому ни единым словом, хорошо, что дал указание, чтобы ее вызвали повторно. Да, завтра, к двум часам дня она будет доставлена. Еще не все потеряно, еще не все мосты сожжены. Может быть, удастся уберечь ее от нового суда...

Я все больше поддавался этой мысли, все больше нарастало во мне желание оградить ее, избавить от кары, и в этом стремлении своем я находил нечто, впервые познаваемое моей душой, я открывал себя, сам себя не узнавая. Что же произошло со мной? Движимый стремлением понять и защитить женщину, я постепенно приходил к выводу, что если Руна Лопатина предъявила мне счет, обрекая этим себя на мученичество, то не есть ли это веление свыше, не есть ли это самозащита Всемилоостивого?.. Раньше я не мог понять, что такое Всемилоостивость, в чем, собственно, она заключается и проявляется, и только теперь вдруг почувствовал: если я тот, кто в угаре самодовольства, манипулируя зародышами, отпихивает самого Бога, то не является ли зечка Руна как бы посланницей, выразительницей Его Великодушия и Снисхождения?.. Нет ли в этом пробы на Добро во мне?!

От мыслей таких мне становилось и горько, и сладко. Я испытывал прилив благодарности к ней, к этой зечке, заставившей меня очнуться, усомниться в себе, ощутить свое высокомерие и надменность. Я почувствовал, что хочу предстать перед ней иным. Как жаль, что невозможно было тотчас позвонить Руне, в особый изолятор, где ее временно содержали. Как много я сказал бы ей, как много хотелось услышать в ответ. Если бы было можно сесть за руль и среди ночи помчаться в тот изолятор, отыскать ее и вступить в разговор! Но это тоже оставалось лишь мечтой. Единственное, что я мог, — это ожидать завтрашней встречи; воображение мое рисовало, какой будет она, эта встреча. Когда Руну приведут в кабинет и оставят для беседы, я подойду к ней и поздорованюсь за руку. «Извините, пожалуйста, Руна, нам необходимо вернуться к нашему разговору. Я готов выслушать ваши соображения со всей серьезностью, просил бы и вас об этом. Выслушайте и мои доводы». — «Прекрасно! — ответит она и чистосердечно признается: — А я думала, профессор, что больше никогда уже не увижу вас. Я ожидала, что утром меня вернут на круги своя, погонят, как проклятую, назад в мою зону, учинят надо мной новый суд и погонят дальше, в Сибирь или на Алтай, но вдруг приходит дежурный надзиратель и сообщает, что меня вновь вызывают к профессору Крыльцову Андрею Андреевичу. И вот тут я...»

«О Боже праведный! Какие глупости ты насылаешь на меня? — шептал я в отчаянии. — Какое ребячество, останови меня, я в детство впал!»

Да, разумеется, от великого до смешного лишь один шаг; но, пусть я смешон, я с легкой душой готов был к тому, чтобы все было именно так, как мне грезилось той ночью. Пусть было бы так, какое счастье даже само ожидание желанной нелепости!

И за всеми этими порывами, вдруг объяввшими душу мою, возникало, как черная туча на горизонте, самое тяжкое для меня сомнение — действительно, имел ли я моральное право производить икродов во чревах инкуб? Какие наивысшие цели могли оправдать мои действия? Не стану кривить душой, сомнения такого рода всегда таились во мне, но ни я и никто из моих коллег никогда не высказывали их. Достижения науки возвышали нас не только в собственных глазах, но и в глазах общества. Однако за примерами того, насколько не совместимы порой наука и совесть, как взаимосвязаны зачастую наука и преступления, в XX веке далеко ходить не надо.

И вот настал момент, когда заговорила совесть моя, которую разбудила тюремная узница. Признать античеловечность производства анонимных детей от анонимных родителей, выведения их с помощью инкуб — вот на что побудила меня Руна.

Что привело ее ко мне, что связало нас до смертного порога, пусть знает судьба... Не мне судить...

В ту ночь наступил перелом. Я готов был просить прощения у женщины, поразившей меня невиданной самоотверженностью, невысказанным поступком. Я готов был склониться перед ней на колени, чтобы отринуть зло, несомое мной роду человеческому. И если бы она приняла мою любовь и могла бы ответить взаимностью, то я просил бы ее руки... Да, да!

Я не представлял себе, каким образом могло бы это произойти, ведь она осуждена на многие годы, но если бы она сказала «да», то я пошел бы даже на то, чтобы бежать вместе с ней куда угодно — в лес, в горы, за моря, куда угодно, только бы быть вместе... И начать новую жизнь, пусть скитальческую, для меня это было бы искуплением моего зловещего прошлого...

И, раз подумав об этом, я уже не мог остановить себя. Мое воображение не знало пределов. Я совершал революцию в себе, беспощадную, безоглядную. И предавался мечтам. Моя новая жизнь должна была начаться с завтрашнего дня, с того часа, когда Руну приведут ко мне и мы останемся наедине. Я попытаюсь объяснить ей, что произошло во мне, рассказать о том катарсисе, который я пережил, заверить ее, что готов на все. Только бы она сказала «да», только бы она увидела во мне того, кого она может полюбить. Только бы она убедилась в моей искренности, только бы поверила, что нам необходимо быть вместе...

Было уже далеко за полночь, когда я уснул на диване беспокойным, чутким сном. И на рассвете слышал грозу, разразившуюся в небе. Громыхало над крышей, за окнами лил мощный дождь. Не открывая глаз, я видел, что происходит в природе, точно я сам творил ту грозу, я видел, как полыхали молнии в полнеба, я видел, как гнулись ветви деревьев под шквалом дождевых потоков, я видел, как стая птиц испуганно металась в грозном пространстве, ища себе прибежище...

И сам я летел в том грозном пространстве. Я вылетел в окно через форточку, вознесся над крышами, над улицами и парком. Летел вслепую и наугад среди молний и облаков, — ведь где-то на земле была тюрьма, где слышала грозу и она, женщина, отказавшаяся быть инкубой... «Руна! Руна! — кричал я. — Это я! Я ищу тебя!» О чем она думала в тот грозный час, когда я кричал ей с небес?..

На другой день мне стоило немалых усилий держать себя в руках, делать вид, что я работаю, чтобы все службы нашей клиники, как всегда, четко функционировали. И все шло обычным порядком. И никто из коллег, никто из персонала не заметил, что я уже не тот...

Я ждал своего часа. Время шло мучительно медленно.

Я был у всех на виду, я, как всегда, исполнял свои обязанности. Но это был уже не я...

Время тянулось мучительно долго...

Назначенный час приближался. Я ждал Руну с минуты на минуту... Вот, вот... Но ее все не привозили.

Прошло еще четверть часа. Но — нет. Я дал задание позвонить и выяснить, когда выехала машина... Секретарь дозвонилась, ей сказали, что машина выехала, как положено, вовремя.

Я начинал беспокоиться. Что могло случиться? А вдруг авария по дороге?

Стрелки часов приближаются к трем. Когда же? Я звоню сам. Мне отвечают, что с машиной что-то случилось. В это время вбегают секретарша. На ней нет лица.

— Что случилось? — кричу я.

— Пациентка погибла!

— Как погибла? Какая пациентка?

— Та, что мы ждем. Только что позвонили с дороги.

— Авария?..

— Нет, не авария. Она бежала...

— Бежала?.. И что?..

— Ее убили.

— Не понимаю!..

— Сказали, что сейчас подъедут и расскажут...

Да, соответственно указанию, данному мною накануне, заключенную Лопатину Р.Ф. за № А-6-87 повезли на машине, с тем чтобы доставить ее в клинику в назначенное время.

В пути, уже за городом, на том участке дороги, где она проходит через лес близ берега Москвы-реки, зечка стала жаловаться, что ее сильно тошнит, что она не может ехать дальше, стала просить и настаивать, чтобы машину остановили и дали ей возможность выйти, у нее начинается рвота...

Пришлось остановиться. Зечка вышла, сделала несколько шагов от дороги и вдруг бросилась бежать, скрываясь в зарослях леса. Сопровождающая охранница кинулась ее догонять. Она приказывала ей остановиться. Но та продолжала бежать. Охранница кричала ей вслед, что будет стрелять. Для предупреждения выстрелила два раза в воздух. И все же пыталась догнать, чтобы схватить живьем. И тут впереди возник берег изгибающейся Москвы-реки, и зечка с ходу кинулась с берега в воду. Охраннице ничего не оставалось, как стрелять. Зечка погибла. Тело ее удалось вытащить из воды...

Тысячу раз впоследствии спрашивал я себя — зачем она так поступила? Зачем? Почему? Что это? Результат безысходности? Страха? Отвращения? Ненависти? Или это было формой протеста?

Никто не ответит... Ушла, как пришла... Она оказалась первой жертвой наших экспериментов.

До позднего вечера я не выходил из кабинета. Сидел, закрывшись. И никто не мог представить себе, что творилось со мной. О, если бы она не помешала таким страшным образом тому, на что я был готов! Какое горе, что она погибла, какое горе, что она ушла, так и не узнав, что я хотел сказать ей о том, что правда на ее стороне, что достижения науки преходящи, на какие бы головокружительные высоты она ни поднималась, прогресс науки нескончаем, но он ничто в сравнении с совестью. И ничто не сравнимо с Духом, заключающим в себе смысл и развитие Вечности...

Я рыдал, сидя у себя в кабинете. Рыдал по женщине, которую видел только однажды... Я понимал, что без нее я несчастен на всю оставшуюся жизнь...

Вечером выехал на шоссе, но, приблизившись к тому месту, где все это произошло, к изгибу Москвы-реки за лесом, остановился и повернул назад. Это было место ее гибели, через эту рощу она бежала и кинулась в реку... Уехал обходным путем...

И если есть тому мера, дома почувствовал, познал сполна всю меру безысходности. Это ли не было наказанием моим?! Я кричал, я рыдал во весь голос в ночном доме... Ее нет. И она никогда не узнает, что я хотел сказать ей, в чем хотел исповедаться. Она до последнего момента думала обо мне как о выродке, использовавшем свои научные открытия для выведения иксродов... Не помогло и виски, хотя я пил и пил прямо из горлышка. Хотелось услышать музыку, которая, казалось, помогла бы, но не было такой музыки...

Эту музыку, возможно, всегда дремавшую во мне, я услышал случайно, годы спустя. Плыл на пароходе по Японскому морю. Вечером дело было. Темные контуры островов, застывших под звездным небом, выступали из моря в разных местах загадочными телами, сгустком Времени и Материи. Тишина стояла, прохлада, чуть слышные, невидимые всплески волн... Нас было несколько человек, советских ученых, прибывших на конференцию в Нагою. Мои коллеги и переводчики остались в баре. А я ходил по палубе, все не мог наглядеться на острова, таинственные и безлюдные. Береговые огни были очень далеки, едва заметны. К ним мы держали курс. На пароходе непрерывно гремела рок-музыка, приглашающая дергаться и прыгать. А тут вдруг рок смолк. И послышалось задушевное пение. Это была японская энка — лирика, тоска по любимой, заклинание и непонимание, ожидание и прощание... И я подумал, что Она где-то рядом, возможно, вон там, на том островке, и что она слышит это пение и знает, что я думаю о ней...

И я понял, что мне надо удалиться подальше от всего и всех...

В годы перестройки удалось положить конец выведению иксродов. Был у Горбачева. И через полгода отправился в космос, на орбитальную станцию. Здесь я стал космическим монахом Филофеем. Со стороны может показаться чудачеством. Но для меня это отнюдь не чудачество...

Мое прошлое не дает мне покоя, преследует меня. И, как кость в горле, стоит неразрешимый вопрос — что станет с иксродами, с теми, что успели родиться и теперь подрастают?.. Покуда их происхождение остается тайной, об этом не знает никто. Вернее, знают немногие — мои бывшие коллеги. Можно представить, что они думают обо мне: вероотступник, кинулся в космос, сбежал... Но их отношение меня не трогает, вовсе не это меня гложет. Никто не знает, как я проклиная себя, как называю себя жалким мазохистом, сукиным сыном! Мне бы сейчас быть на Земле и поглядеть в глаза тем малышам, что родились в результате опытов нашей лаборатории!.. Зачем я пишу об этом? Да потому, что то, что мы сделали, — непоправимо. Что станет с этими людьми, казенными от рождения? А ведь завтра они поймут, кто они такие. Чем они отплатят обществу? Не возникнет ли у иксродов со временем неодолимого желания — отомстить человечеству, покончить со всем светом к чертям собачьим?! И то, что я здесь, в космосе, а они, иксроды, там подрастают, — это чудовищно. Другого слова не найдешь. Я мог бы сказать себе, что никогда не брал на себя ответственности за их будущее, а лишь решал научные проблемы их рождения. Но разве это оправдание! Где им искать виновных, тех, что натворили дел, а потом, когда все опрокинулось и пошло другими кругами, — разбежались. Даже КГБ сгинул. А может, и не сгинул... Но черт с ним...»

На этом Исповедь Филофея обрывалась.

Текст Исповеди, эту последнюю весть от Филофея, Энтони Юнгер получил в начале зимы.

Необыкновенная история, никому бы и в голову не пришло, горестно думал он в то зимнее утро, сидя за рулем и глядя на белые хлопья снега, кружащиеся за стеклами машины. Он был под впечатлением прочитанных ночью исповедальных записей Филофея.

Странно, думалось ему, никто так не умирал. И летает сейчас Филофей где-то над миром космической мумией, единственный в своем роде самоубийца за пределами планеты. Умиротворился-таки в безмолвии. И вот он снова напоминает о себе...

И впрямь можно подумать — какой-то высший замысел был в том, чтобы его судьба послужила уроком. Да. Но какой ценой?!

Но цена на таком пути всегда велика. Был ведь однажды великий Урок на все времена. Цена была — Голгофа. У каждого своя цена. Этот заплатил свою цену в космосе.

Неужто и в космосе слышится ему хруст снега под ногами его матери, несущей его к детдомовскому крыльцу? Неужто и в космосе слышится ему, как гулко бьется сердце матери, несущей его в последний раз, прижимая к груди?..